

* Б И Б Л И О Т Е К А С Е М Е Й Н О Г О Р О М А Н А *

Владимир

ЧУГУНОВ



ЗАПУЩЕННЫЙ
САД

протоиерей
Владимир Аркадьевич Чугунов
Запущенный сад (сборник)
Серия «Библиотека семейного романа»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21996621

Запущенный сад: Родное пепелище; Нижний новгород; 2016

ISBN 978-5-98948-064-7

Аннотация

Книга повествует о самом замечательном времени жизни: детстве, отрочестве, юности и первых годах супружеской жизни. По мере повествования взрослеют герои книги. Все они разные, но их роднит одно: желание любить и быть любимым, ибо нет более прекрасного чувства на земле. Оно по-разному проявляет себя в разные периоды жизни. Кому-то оно приносит радость, кому-то страдания, но никого не оставляет равнодушным и остаётся в памяти навсегда, как неповторимый миг прикосновения к прекрасному.

Содержание

Деревенька	6
1	6
2	15
3	18
4	24
5	26
6	29
7	32
8	34
9	36
10	38
11	41
12	46
13	49
14	52
Школа	55
1	55
2	63
3	67
4	72
5	77
6	79
7	86

8	90
9	95
10	101
11	118
Конец ознакомительного фрагмента.	123

протоиерей
Владимир Чугунов
Запущенный сад

© В. А. Чугунов – текст

© МОФ «Родное пепелище» – дизайн, вёрстка

Деревенька

1

Всё это вспоминается мне, как во сне. Встают перед глазами дни моего детства, той счастливой поры, когда не помнишь, что было раньше, а что потом, и, в общем-то, это не важно, в памяти отчетливо сохранились всего лишь коротенькие эпизоды, но такой удивительной яркости, что хорошо помнятся даже запахи, выражения лиц, глаз, голосов, как это бывает только во сне.

Но сон этот – детство, которое, чудится мне, начинается с того цветущего сада, за глиняной стеной хлева, с соломенной крышей, с того дубового бревна, на котором, отдыхая от косьбы, сидит дедушка Миша и, щуря подслеповатые глазки, смотрит на блестящую в грядках укропа, моркови, гороха росу. Я сижу рядом в чёрных трусишках, босенький, усердно натягиваю их на покрывшиеся коростами колени и зажимаю большим пальцем пупок, кажущийся мне чем-то лишним на моём гладком, сытеньком животе.

– Что ты его припёр? Ай стыдишься? Не тро-ож, – говорит дедушка. – Ты, мил человек, через него мамку в утробе сосал, и это тебе знак, что «земля еси и в землю отыдеси», когда помрёшь.

– Да разве я помру, деда?

– Нешто ты лучше других? Все помрём, милоч, – говорит дедушка. – Одни прежде, другие немного погодя, конец один.

Я вспоминаю серое лицо крёстного, которого хоронили прошлогод, как выражается бабушка, и спрашиваю:

– И всех в гроб закопают?

– Все-эх, – равнодушно отвечает дедушка.

Я смотрю на него, и меня страшит его спокойствие.

Бабушка, половшая неподалёку морковь, с трудом разгибает спину и говорит:

– Ты чего робёнку пугашь?

– Чевой-то я его пугаю? – возражает дедушка и ко мне: – Ты ай напугался, милоч?

– Нек! – храбро отвечаю я, и, задыхаясь от переполняющего меня чувства хвастливости, говорю: – Я даже собак не боюсь, и коров не боюсь, и гусей не боюсь, и волков не боюсь...

– Пра-авильно, – останавливает меня дедушка. – Волков бояться – в лес не ходить. А человеку нужно правильное понятие о жизни иметь. Так? – Я согласно киваю. – Во-от. А ну сказывай сию же минуту: отколь дети берутся?

– Из животов! – бойко отвечаю я.

– Та-ак, – одобрительно кивает дедушка. – А каким Макаром они туды попадают?

– Ветром надуло! – отвечаю я его же словами, когда он на

бабушкино сообщение о том, что какая-то «Евдокея опять забрюхатела», сказал: «Никак, ветром надуло».

– Молодец!

Бабушка качает головой и безнадежно вздыхает. А я размышляю о том, что животы, вероятно, появляются у тех женщин, которые ходят разиня рот.

На горизонте, немного левее задымленного туманом солнца, из бобовой грядки показывается светлая и жёсткая, как солома, Сашкина шевелюра. Сашок мой двоюродный брат, я у него в гостях, ему пять лет, и он на год младше меня, под мышкой у него деревянная сабля, в руках бобы.

– А-а, явился пропадущий? – сразу же строжеет дедушка. – А ну, живо сказывай, куда табак с протвиня подевался?

– А я яму, сто ли, столозом нанималса? – отвечает Сашок, жуя бобы и подшмыгивая зелёные сопли.

– Чего-о?

– Сево слысал.

– Опять разговорчивый стал? Ну-ка, подь сюды.

– Сас. Лазбезалса.

– Видит Бог, не хотел, а всё же придётся тебя высечь.

– Поплобуй только!

– Ещё как попробую. И отцу накажу, чтобы добавил.

– Не сказыс.

– Ещё как скажу.

– А я тада тибя залезу!

– Это ещё что за разговоры? – возмущается бабушка. –

Ты что мелешь, изверг? Ты думаешь, с кем разговариваешь? Да я тебе сейчас... Я те покажу...

Она быстро пробирается меж грядок. Сашок летит сломя голову и ныряет в заднюю калитку. Захватив с бревна одежонку, бегу следом, зная, что сегодня ему попадет.

Прежде чем скрыться за баней, Сашок оборачивается и, размахивая саблей, кричит:

– А твой сёлтов Хлусев кукурузы насазал! Э-э! – И летит дальше.

Кукуруза – больная дедушки тема. Дня не проходит, чтобы он не обругал и кукурузу, и «кукурузника». Сашок знает об этом, знает, чем досадить дедушке. Одним словом – изверг.

На задах, за баней, недалеко от мусорной ямы, наш шалаш с видом на кукурузное поле. У входа – огромное железное колесо от сенокосилки, которое мы недавно прикатали от колхозной конюшни. Внутри, на соломе, свёрнутый змейкой, с хлопком из настоящего конского волоса, кнут, которым Сашок хлопает, как заправский пастух, а я почему-то – себе по голове, да так больно.

– Холос, – говорит Сашок, запихивая в рваную полевую сумку свежие початки кукурузы, – к тете Массы ухозу, в голот. Вылосту, зынюу-усь, буду на масыне лоботать.

– А меня покатаешь?

– А как зы! – говорит Сашок, подбирая сопли. – Я слазу на двух масынах лоботать буду. На одной, как у дяди Толи.

– У папы?

– Ага. А на длугой, как у Петлухи в буквале – «ЗИМ» называца.

Он тревожно прислушивается, поднимается и поддегивает штаны.

Наш нижний порядок вдоль одноименной деревне речушки, как все выражаются, Козэвки. Мы идём сначала задми, затем перебираемся по шатким жердям через речку, хотя есть нормальный деревянный мост, с перилами, и через бурьян поднимаемся на холм, где расположен верхний порядок. Внизу до рези в глазах сверкает Козэвка, заляпанная лаптями кубышек, на которых частенько дремлют жабы. Сашок безжалостно расстреливает их из рогатки, чтобы шёл дождь, а дождя всё нет. За деревней – поля, сияющий, как осколок солнца в траве, пруд, тонкая прослойка леса, какое-то огромное село с голубенькой церковью, опять холмы и целые нагромождения облаков. Куда ни глянь – кругом небо, просторы, подёрнутые сизой дымкой дали. И сердечко моё стучит от восторга, как у воробья.

Из-под лопухов неожиданно вылезает Светланка Козлова. Глядя на решительную нашу походку, на сумку, спрашивает:

– Куда-то вы настробутились?

– На кудыкины голы, где зывут волы, – не останавливаясь, небрежно отвечает Сашок.

Светлакнка бежит следом, дёргает меня за руку.

– Ну куда, а, куда?

– В город, – важно отвечаю я.

– А мне с вами можно?

– Ыссо баб нам не хватало! – презрительно роняет Сашок. Светланка обижается.

– Сам ты баба!

– Не-э, – возражает Сашок, – я музык!

И размазывает по щеке зелёные сопли. Светланка начинает дразниться:

Неотвозжа, красна рожса,

На татарина похожа!

Семьсот поросят —

Все на Саньке висят!

Сашок кидается за ней. Светланка летит, сверкая пятками, по улице. Потом останавливается и, вываливая язык, кричит:

– Э-э! Э-э! Всё расскажу, куда подалися!

– А я тада тибя залезу! – грозит кулаком Сашок.

– Куда залезешь? – не понимает Светланка.

– Не залезу, а залезу!

– Дурак! То залезу, то не залезу! – кричит она и, мотнув жиденькой косичкой, исчезает в проулке.

Идём дальше. Выходим за деревню. Плетёмся дорогой вдоль ржаного поля. Пыль обжигает ступни, брызжет по стономам. Мне жарко, хочется пить. Вспоминаю бабушкин квас, что стоит в сенях в маленькой кадлушке, ядрёный, холоднень-

кий, только из погребца. Зачерпнёшь, бывало, деревянным, вырезанным дедушкой из липы ковшом и тянешь, пока не задохнешься. И застреляет в нос, и выступят на глаза слёзы.

– Квасу бы, – говорю я.

– В голоде напьёмся.

– Это ещё когда...

Останавливаемся, и смотрим на деревню, от которой отошли с километр. Мне становится страшно – а ну как заблудимся.

Идём дальше. Навстречу телега, на телеге дяденька, в чёрном, сильно поношенном пиджаке, накинутом на голое тело. На груди татуировка – восходящее над морем солнце. На голове выдавшая виды кепка.

Дяденька подбирает вожжи. Лошадь и так, казалось, спавшая на ходу, останавливается и, свесив морду, закрывает слезящиеся глаза, которые тотчас облепляют мухи.

– Это куда гавша намылилась? – весело спрашивает дяденька. – Ну чё примолкли, моряки, языки проглотили?

– В голод... зыть... – неохотно отвечает Сашок.

– А тут вам, что не живется?

– А сто, с голоду, сто ли, тут сдохнуть? – огрызается Сашок.

– А кто помер? – возражает дяденька. – Кто, ну? – мы молчим. – То-то! Не те ноне времена. Прежде – было, а теперь... Теперь... эта... как эта?.. О! «Всюду жись привольна и шорока...» Понятно? Закурите?

– Мы не курим, – говорю я, заметив, как Сашок сразу на-
вострил уши.

– Вот это правильно! Курить – здоровью вредить! – И, до-
став папироску, словно мы его упрашивали, кивает: – Ладно,
полезайте в телегу. Как графьёв повезу. Поживете малость,
пока женилки подрастут, а там хоть в город, хоть за город.

– Какеи ыссо зынилки?

– А вот приедем на конюшню, я те покажу, какие.

Мы забираемся по оглоблям на телегу. Дяденька дёргает
вожжи. Некоторое время едем молча, и меня начинает кло-
нить в сон. Возница взглядывает на нас и по-армейски ко-
мандует: «Запе-э-вай!» Сашок на это мастак.

*С неба звёздоська упала
Пляма мне в калосьну.
Не пойду в колхоз лоботать
За одну калтосьну.*

– Это я одобря-аю! Молодец!

Сашок, польщенный, затягивает следующую:

*С неба звёздоська упала
Пляма Гитлелу на нос.
Вся Амелика узнала,
Сто у Гитлела понос.*

– Так, его, курву, так!

Сашок выводит следующую:

*В систом поле ветел свисет,
Солок гладусов молос.
На помойке нисий длиссет —
Плохватил яво понос.*

– Чей-то они у тебя все распроносились?

– Не знаю! Натлескались сиво-нито!

На конюшне дяденька снимает нас по очереди с телеги и говорит:

– А теперь марш домой!

– А зынилку посто не показыс?

– Женилку? – немного озадаченно чешет затылок дяденька. – А это тебе тятка покажет. Как придёшь домой, сразу проси: покажи, тятя, женилку. Он те и покажет.

Не помню, спрашивал Сашок или нет, но взбучку получил хорошую и, забравшись ко мне на печь, вытирая слезы, сказал:

– Я их всех залезу.

2

– Ба-аб, а баб, ну Расскажи... – клянчу я.

– Ай, не умаялся за день-то бегамши? Не спится, что ль?

Не знаю, голубок, чего тебе ещё рассказать. Говорено-переговорено... Ну, да ладно, слушай, коль не спится. Буду со стола прибирать да сказывать. Шли, стало быть, раз обозом в город сено торговать. Рано вышли. И немало прошли. Да с обеда потянуло отколе-то ветром, небо заволокло, повалил снег, враз стемнело. Хоть глаз выколи – в двух шагах ничего не видать. Дорогу смело, куда ехать, Бог весть. Стаём на ночлег, лошадей выпрягли, к сену подпустили. Сами скутались на возу. Дед мой захрапел, а я скрозь щелку дивлюсь, как это снег играет. Вдруг из метели как образина какая: ведьма не ведьма, кикимора не кикимора, а такая, как бы не соврять, страшила несусветная, не приведи Господи кому увидеть. Космы-ти по ветру вьются дли-инныи, на концах узлы завязаны, глаза огнём горят синим, как уголья в печи, а лапы ровно медвежьи. Как это она меня схватит! Как это я закричу!.. – бабушка выдерживает томительную паузу, чего-чего не вообразится в это мгновение, а она: – Ну и проснулась, конечно. Глянь – мамыньки родные! – на снег без слёз глядеть нельзя! Небо – окиян опрокинутый! Сани привалило с боков. Мне: «Штой-то ты, Марфа, кричишь?» – «Образины, мол, напужалася».

Смыкаются веки, урчит под мышкой Барсик, попискивает над ухом голодный комар. Хорошо! Кончается одна история, начинается другая. Голос певучий, ровный.

– ... и тогда выполощет матушку сыру землю, как скорлупу яичную, как девицу непорочную, как харатью белую, как вдову благочестивую. И будет тогда всё не так. Не будем мы боле ни сеять, ни жать, ни косить, ни молотить, потому как всё само собой расти будет...

– И кукулуза?

– А ба! И этот не спит! – всплескивает руками бабушка. – А ну живо спать! Гляньте в окно! Слышите, стучит? Слышите, ходит? – Она сама стучит по стеклу, топает ногами и спрашивает: – Кто там? А-а, это ты, Дрёма? Ну-ка, ну-ка их... – и говорит нараспев:

Ходит Дрёма

Возле дома.

Ходит Сон

Близ окон.

И глядят:

Все ли спят?

Бабушка задувает керосиновую лампу, становится темно и в темноте страшно. Мерещится это лохматое, косматое, рогатое чудище Дрёма, заглядывающее в наше оконце.

– Слысыс?

– Ага...

И мы натягивает на головы байковое одеяло.

Просыпаюсь на печи. В окно падают первые пучки зари, тихо в избе, таинственно. Бабушка стоит на коленях перед киотом. Теплится лампадка, едва освещая почерневший лик. Все ещё спят в доме. Мне хочется окликнуть бабушку – и не смею. Не смею нарушить того, что происходит с ней. Мне становится страшно, я опускаю голову на подушку и смотрю в потолок, на ползающих по нему сонных мух, прислушиваюсь к таинственному шёпоту.

– Господи! Матушка! Заступница! – доносится до меня тихий, трогающий до слёз голос. – Как же всех жалко-то! А сколько горя, страданий, слез. Так трудно жить, так тяжело дышать! Господи, Матушка, Заступница!..

И это – «тяжело дышать, трудно жить» – наполняет моё детское сердечко жалостью и недоумением. «Тяжело дышать, трудно жить» – ничего этого мне ещё не известно: мне легко жить и дышать. Я и не подозревал до тех пор, что кому-то тяжело дышать и трудно жить, когда мне так хорошо, так весело живется. Слезы навертываются на глаза, мне жаль бабушку. «Бабушка, миленька, – думаю я, – вот вырасту, стану большой, буду за тебя огород копать, полоть, а ты сиди, отдыхай».

Когда выглядываю другой раз, бабушки уже нет в избе. И тут я вижу на полу свежую траву, веточки берёзы в крынке,

на столе.

Уходит дедушка – наш черёд пасти стадо, следом, зевая во весь рот, тётя на дойку, потом дядя, работавший в колхозе пастухом. Бабушка уходит в чулан и вскоре появляется «в рукавах» (самотканой, льняной, коричневого цвета, в клеточку, блузке), в туго повязанном на глаза белом платке и длинной, тёмно-синей в горошек ситцевой юбке. Заметив, что я не сплю, говорит: «Айда в церкву?»

– А Саша?

– Да ну его. Озорничать только. Не трож, спит.

Я слезаю с печи, одеваюсь. Прошу покушать, но бабушка говорит, что нельзя, а после «обедни» будет можно. Я не знаю, что такое «обедня», и почему до неё нельзя есть, но не спрашиваю, решив, что так надо.

Мы выходим. Утро туманное, солнце плавает в мутных клубах. Туман то подымается, то опускается.

– Коли подымется, дождь будет, – рассуждает вслух бабушка.

Мне весело, я забыл про свою недавнюю жалость к бабушке и скачу впереди то на одной, то на другой ножке. Наконец, падаю и до крови сдираю коленку. Бабушка сердито берёт меня за руку и не отпускает до конца пути. За деревней к нам пристают ещё несколько старушек, разговор заходит о житье-бытье, о том, что сыновья с внуками табунами бегут в город, в Бога не веруют, сосут папироски, матерятся, венчаться не хотят, «тэтак в блуде и живут», видать, и впрямь

последние времена наступают...

У паперти толпится народ. Церковь деревянная, в каменной ограде, среди высоченных лип, в зеленой вязи которых вольготно грают грачи и галки. Воробьи неприкаянно носятся над землёй. На колокольне с заколоченными окнами сидят голуби. Время от времени они слетают вниз, где у огромной деревянной бочки с водой им сыплют на землю семечки.

Мы входим в церковь, и тут – свежая трава на полу. Молоденькие берёзки стоят в дверях, у икон, у распятия, в трапезной, у алтаря, у бокового выхода. Свет пыльно сочится в высокие, с решётками, окна, в боковую дверь, достаёт до аналоя, на котором лежит икона с изображением сидящих под дубом, за низким столом трёх Ангелов. Все кланяются друг другу, иные звучно целуются.

Начинается служба. Я помню только начало и обрывки, потому что, присев на ступеньку, напротив алтаря, тут же уснул, прижавшись к перилам. И, просыпаясь иногда, как из-под воды, улавливал неслаженное пение клира, голос священника, которому в ту пору было, наверное, лет девяносто. Он был так худ и так слаб, что едва переставлял ноги.

– Вставай, вставая скорей причащаца, – будит меня бабушка.

Складывает крестообразно на моей груди руки, подводит к батюшке, стоящему на амвоне возле маленького столика, на котором стоит серебряная чаша. Поддев дрожащей рукой длинной серебряной лжицей что-то из чаши, он протягивает

мне, как показалось кровь и говорит: «Причащается молодец...» – и называет моё полное имя.

Затем мне дают кусочек просфоры, и я запиваю его тёплой, сладкой водичкой.

– Ай, какой молодец! Ай, какой умненькай! – льётся со всех сторон, и я гордо задираю голову, хотя и не понимаю, за что меня хвалят.

– Ну вот, – подходит ко мне Гриша-дурачек или убогий, как зовут его в деревне, лицо у него румяное, сытое, глаза карие, ясные, бородка курчавая. Ко всем подряд он нанимается в работники. Ни разу я не видел его унылым. Когда его просят прийти пособить, он всем отвечает: «Хорошо, если не помру я только!» И так весело при этом улыбается, словно помереть для него – плёвое дело. – Ну вот, – говорит он, – теперь и помирать можно!

– Такие молоды и помирать? – возражает бабушка.

– А чего бы чай и не помереть? – без всякого трагического оттенка в лице отвечает Гриша. – Помер – и прямиком в рай!

– Ишь, куда намылился – в рай! Рай-от заслужить сперва надо. В рай! – беззлобно ворчит бабушка, хотя ей самой очень хочется попасть в рай. Уж я-то знаю. Уши она всем этим своим раем прожужжала. Я даже немного представляю, что такое рай. Когда у бабушке в избе всё прибрано, чистенько и светло, она вздохнёт и скажет: «Ишь ведь, райко-то как!» Но почему она пожалела своего рая для Гриши, я понять не мог. Или это была не жалость?

Потом была длинная «вечерня», во время которой все стояли на коленях, на четвереньках, а я даже полежал на свежей травке. Во время этих стояний, батюшка сам, стоя на коленях в открытых Царских вратах, дрожащим, слабым голосом читал длинные молитвы, смысла которых вряд ли кто понимал, но слушали, благоговейно склонив головы.

Но всему на свете приходит конец. И вот уже народ затеснился к «кресту», а затем посочился в распахнутые двери.

С утра было теплее, а теперь небо сплошь затянуто тучами, ветер дует сырой. Бабушка, не обращая внимания на моё хныканье, тащит меня за руку так, что я едва успеваю переставлять ноги, но так и не утягивает от дождя. Он застаёт нас на полпути. Налетает шумной, плотной стеной, взрывает мучнистую пыль. Становится холодно, зубы мои постукивают, и я уже не прошу отдышать.

И как хорошо, как приятно потом было забраться на печь, напившись горячего молока с мёдом, упасть в овечьи шкуры и тотчас уснуть.

Просыпаюсь к вечеру совершенно бодрым. Всё бывшее кажется сном: и церковь, похожая на берёзовую рощицу, и невесомое порхание огоньков у иконостаса, и неслаженное пение старушек на клиросе, и трогательный голос батюшки: «О благорастворении воздухов... О все-е-ех и-и за-а вся-а-а...»

Раздвигаю занавески: за столом сидит бабушка с какой-то женщиной, что-то вроде нищенки или погорелой, в потертом

чёрном пиджаке, как у дяденьки-возницы, в чёрном платке. Бабушка подливает ей в глиняную миску похлёбки, женщина аппетитно ест и рассказывает:

– А руки у Антихриста будут волосатыми и будет он поэтому в белых перчатках ходить. Прикинется милостивым, а внутри волк в овечьей шкуре. И как скажут: «Перепись!» – стало быть, конец. И тогда солнце померкнет, луна превратится в кровь, запылает земля от востока до запада. Но верным рабам огонь тот не повредит, как трём отрокам, которых в печь огненную бросили, а к ним Ангел небесный сошёл, и ходят они посреди огня и поют! А... – тут она подымает голову, и мы встречаемся глазами.

Водворяется мёртвая тишина. И далее разговор переходит на шёпот. Мне страшны эти слова, как сказка про Соловья-разбойника. Но и на того ведь нашлась управа – Илья Муромец. А коль и вправду будет так, придёт Илья и победит Антихриста.

Только садимся за стол, распахивается дверь и вбегает тётя Нюра.

– Ой, мам, чё там дееется-то! Бык взбесился. На пастбище корову задрал. Пастухи вступились, так он их давай гонять. Страху, что натерпелись! Насилу в калду заманили со стадом. Коров на дойку во двор загнали, так он теперь один на дворе бесится. Пристрелить бы, да как без председателя? Поди, докажи потом. Степан верхом в Егорьевско ускакал.

Нас с Сашком словно ветром выносит из-за стола. Прибегаем на ферму. Толпа народу: мужики, бабы, дети. В калде, у лопуха, стоит огромный белый бык, с железным кольцом в ноздрях. Глаза кровавые, страшные. Бык ревёт, высуня язык, кося глазом и пуская пену, копает под собой землю, поводит рогами. Две собаки крутятся перед его мордой. Пастухи подзадоривают их. Мужики ругаются, другие спорят, бабы охают и ахают, дети визжат от восторга. Кто-то кричит: «Едет!» Обернувшись, вижу подъезжавшую двуколку, а в ней председателя в пиджаке, светлой кепке и кирзовых сапогах. Подъехав, он лихо соскакивает на землю, выхватывает из пролетки ружьё и, нагнувшись, между жердей залезает в калду. Подходит близко к быку, который сразу затаился, притих, взводит курки и, почти в упор, выстреливает быку прямо в лоб.

Бык падает на передние колени, качаясь, валится на бок

и, задрав голову, сучит по земле ногами. Поднимается пыль. Из лба фонтаном бьёт густая, чёрная кровь, заливает морду, всё вокруг.

Мне жалко животное, я хлюпаю носом и со страхом кошусь на председателя, который стоит в задумчивости, держа в руке ружьё стволами вниз. Они дымят. Быку перехватывают горло и начинают свежевать.

– Племенной... – говорит председатель и, вскочив в пролетку, уезжает.

Мы с Сашком бредём домой. На пути попадается телега с задранной коровой. Брюхо у той пропорото от паха, торчат сломанные ребра.

– А мне, так совсем не стласна, – хорохорится Сашок. – Я б ёво залазу с пулемета – тла-та-та-та...

Жарко пылает костёр. В тоскливой дрёме, положив морду на лапы, поскуливает Волчёк, иногда вскидывается, прислушиваясь к ночным крикам пивика, шорохам, ржанию и храпу коней. Жабы заливаются в болоте, лес кажется совсем близким, страшен и тёмн. Я сижу, уткнувшись подбородком в колени. Приятно калит лицо, не оторвать глаз от огня, так и тянет протянуть руку и поймать взвизывающиеся к небу искры. Ночь такая тёмная, такая тихая, что кажется, кто-то стоит неподалёку в ожидании, когда потухнет костёр. Мы с Сашком сидим рядом с дедушкой. Гриша против нас, по ту сторону костра, лицо его раскраснелось, глаза расширились то ли от ужаса, то ли от вранья.

– Ходили летось бабы по ягоды, – говорит он, – да заплутались маненька. Кричат – ау. И им – ау. Оне туды. И приаукали к болоту. Допетрили, что леший их кружит, перепугались до смерти. А сорока над ими: «Тр-р-р, тр, тр, тр...» Чуть живёхонькие из лесу-то вышли.

– Бре-эхня-а, – говоит дедушка. – Никаких таких лешиев нет.

– А домовые?

– И домовых нету.

– Ан есть, Ляксеич. На себе испытал. Лёг раз в сенях не там, где обычно сплю, так ночью, как придавит, не вздохнуть,

не пёр... – и, глянув на нас: – Ну да... Руки как плети, а он, гад, и трётся кошачьей мордой, под ладонь, зараза, так и лезет. Насилу отвязался. Маманя баит, не любит, когда в доме непорядок.

– Ты это ври, да не завирайся, – говорит спокойно дедушка.

Кто-то мелькает над самым костром и с писком кидается прочь. Гриша смотрит, вытаращив глаза, разиня рот.

– А вправду, Ляксеич, бабы сказывают про Ивана Зыбина, что колдун?

– Ванька-то? Дурак, скорее всего, а не колдун, – уверенно отвечает дедушка. – Бабы врут, а ты уши развесил, тетеря.

– Ну не скажи... Помню, раз идёт к нам, я в окно усёк и перекрестил дверь-то. Так на воле стал и кричит: «Гришка, подь сюды, дело есть!» – «Ступай, говорю, в избу». «Да плёво дело, выдь на минуту!» Я «Живые помощи» про себя давай читать, выхожу, а он – тресь себя по башке: «Хлеб в печи забыл!» – и тягу.

– Мели, Емеля, твоя неделя. Хлеб в печи забыл... Глупее ничего придумать не мог? – по обыкновению равнодушно возражает дедушка. – Ступай за хворостом!

– Ты чё, Ляксеич, не видишь, время какое? Луна над погостом. Леший след спутает, заведёт в болото да утопит.

– Гляди, беда какая! Одним лешим станет больше, а болтуном меньше.

Гриша обижается, отворачивается, с достоинством погла-

живая бородку. Но обида вскоре забывается, и он начинает новую историю. Мы слушаем с жадным любопытством, косимся на лес и жмёмся к бесстрашному дедушке. Сашок засыпает. А я никак не могу заснуть, сердечко моё трепещется. Гляжу на луну, на погост – и на меня нападает ещё ни разу не испытанный страх перед могущественной злой силой, от которой некуда деться...

Но всходит солнце, рассеиваются страхи вместе с темнотой, преображается мир, и так радостно в нём после жуткой ночи. Даже костер, казавшийся недавно единственным спасением, теперь выглядит жалко, как ядовитое пятно на теле земли.

6

Солнце перерезано пополам тонким сизым облачком, стоит над самым горизонтом, ниже того места, где расположен верхний порядок. Оно бледно-розовое, призрачное, печальное. Лёгкие сумерки, ни ветра, ни шороха. С той стороны, где мы с Сашком предполагали город, отдалённо доносятся весёлые девичьи голоса и переборы гармони – из соседней деревни к нам идёт на гулянье молодёжь.

Мы с Сашком сидим на крылечке Светланкиного дома. Светланка в чистом платьице. Весёлая процессия входит в деревню. Девки идут, взявшись под руки, во всю ширину. В середине высокая, чернобровая, черноволосая, не знаю, как её звать, и назову хоть Шурочкой. Голос её сочный, густой. Парни точно так же, только не под руки, идут следом. Гармонист между рядов. По ту и другую стороны порядка на завалинках, на лавках или как и мы на крыльце сидят старики и старухи. Точнее, почти одни старухи, потому что стариков в деревне почти нет.

Поют частушки в основном девки, парни отвечают редко, а вот семечки грызут бойко.

У миленка моёво

Поговорочка на «о».

Он на «о», и я на «о»,

Все равно люблю ёво!

Сашок лыбится. Светланка косится на меня – и меня это начинает беспокоить.

*Гармонисту за игру —
Табуретку синюю.
Четыре сына, восемь дочек
И жену красивую.*

Парни смеются. Светланка ёрзает и будто нечаянно задевает меня плечом. Я отодвигаюсь, показываю ей кулак и говорю:

– Ещё раз толкнешь, получишь!
– Сам получишь!

Хриплым, пропитым голосом запекает гармонист:

*У меня девчонок много,
Как в корзиночке грибов.
Только я к одной имею
Настоящую любовь*

Ему тут же отвечают:

*Гармонист у нас хороший,
Я его приворожусь:
Я возьму и на гармошку
Две ромашки положусь.*

Дойдя до конца деревни, возвращаются назад. И так до наступления темноты. Солнце давно скрылось за холмом, стала темнее полоска леса, проклюнулись звезды. Кое-где уже светятся едва приметным заревом оконца. По одному расходятся старухи. Песни тонут за деревней. Мы с Сашком идём домой. И я очень рад, что, наконец, избавился от Светланкиного внимания.

Спускаемся проулком, выходим на зады. Сашок вдруг замирает.

– Слысыс?

– Чего?

– Сопот слысыс?

Спускаемся ниже. За усадями, в бурьяне, стоит с кем-то Шурочка. Я сразу узнал её по голосу.

– Ты ай белены объелся? – говорит она кому-то.

Шёпот. Возня. Шлепок.

– Ой! Ктой-то там?

Мы летим вниз, и ноги мои едва за мной поспевают. Вслед нам летит разбойничий свист. Мы перебираемся по жердям на ту сторону, и только на родном берегу мне становится спокойно.

– Чего это они там? – спрашиваю я.

– Зазымаюца.

– Зачем?

– Ну спелва зазымаюца, апосля зеняца.

Едем в лес за сеном. Бежит вдоль ржаного поля пепельная лента дороги. Лошадь идёт бодрым шагом, ровно катится по мягкой пыли телега. Пыль летит из-под копыт, брызжет по сторонам. По ржи волнами ходит ветер, приятно обдувает лицо, шею, и если бы не строка, было бы полное блаженство. Откуда-то сверху льётся пение жаворонка. Задираю голову и вижу крохотную, дрожащую в небе точку. Правит Сашок, и время от времени покрикивает, как взрослый:

– Посла! Но-о, лазлази тибя глом! Я кому говолю? Посла, говолю, халела!

Я сижу рядом и краем уха слышу разговор деда с дядей.

– Я тебе, Степан, давно не указ, у самого дети малые, но как отец всё же скажу. Коли в избу пустить свинью, она своё поганое дело сделает. Всё вверх дном перевернёт, всё опрокинет. А и выгонишь, не сразу порядок наведёшь. Так и в жизни, Степан. Смотри. Не пускай свинью в душу. Семья – дело святое, смотри...

Дядя сидит явно недовольный и всё отворачивается от дедушки. И когда отворачивается, рот его кривит нехорошая улыбка.

В лесу ветра нет и на поляне поэтому очень жарко. Звонко-оглушительно стрекочут кузнечики, поют птицы, стучит в отдалении дятел. Пока навивают воз, мы собираем конопа-

тые ягоды луговой земляники, пресной, хрустящей на зубах как песок. Потом забираемся наверх, на дрожащую громаду пахучего сена и, уцепившись за гнёт, смотрим по сторонам. На возу так высоко, что ступни ломит от страха.

Дедушка только что вычистил самовар и, сидя на крыльце, поглаживая сияющее на полуденном солнце самоварное брюхо, рассуждает вслух:

– Самовар – незаменимая вещь в избе. Ишь, как блестит! Ну, блести, милок, блести... Вот, к примеру, на морозе назябнешь, ступишь в избу – а на столе самовар сипит. Хошь руки об ёво грей, хошь выпей весь. А после бани? О-о! После бани без самовара вообще тоска. А вода в ём от березовых углём какая лёгка! Пьёшь и всё хочется.

Мы не возражаем. За самоваром бабушка нас одаривает колотым сахаром, а по праздникам – «подушечками» и «печенюшками».

Когда дедушка уносит самовар, идём за дом, где в специально вырытой квадратной, на штык глубиной, канаве тетушка месит ногами грязь – глину, солому, песок. Затем накладывает месиво в ведро и кидает рукой на плетёную из тальника стену хлева. Брызги отлетают мне в лицо, прилипают и тут же засыхают щекочущими коростами.

Появляется дядя.

– Помочь? – спрашивает он, весело-виновато бегая туда-сюда глазами.

Хочет взять у тетушки ведро, она со всей силы дёргает его на себя, оступается и чуть не падает.

– Чё цепляйся? – кричит она, раскрасневшись. – Ишь вцепился клешнями-то, как в своё!

– А то – чужое... – ненастойчиво возражает дядя.

– Сказала бы я тебе, да дети рядом!

Дядя будто только теперь замечает нас.

– Это откуда взялось? А ну марш! Марш, кому говорю?

Мы удаляемся с повернутыми назад головами.

– Ну и посол в оголот к бауски под юбку! – говорит с презрением Сашок, и я соглашаюсь.

По дороге братец уверяет меня, что мёд там хоть ложкой черпай.

– Я узэ, навелна, целое ведло созлал! – говорит он и подтягивает штаны.

Сползают они у него вовсе не оттого, что широки, а оттого, что живот у него постоянно то надувается, то опадает, угадать невозможно. Ест же он всё подряд, без разбору. И всякий раз, похлопывая себя по животу, приговаривает: «В лусском пузе всё сгниет!» И, по словам бабушка, ни одна холера его не берёт.

– А если он нас в свиней превратит?

Я боюсь не столько пчёл (я ещё не знаю, что они жалят), сколько колдовских чар Ивана Зыбина, на пасеку которого направляемся есть мёд.

– А клест на сто? – храбрится Сашок. – Мы ёво клестом, он и сдохнет, как сильвяк!

Ульи на задах, у плетня, заросшего с нашей стороны репейником, конским щавелём, крапивой, лебедой, беленой. Кое-как минуем ферму, извозившись попутно в навозе, и пробираемся через бурьян к огороду. Какая-то пчёлка проносится мимо, потом ещё одна, и ещё. Добравшись до плет-

ня, слышу мерное гудение. И тут разом кончается героичество брата. Он хватается за голову и, отмахиваясь руками, с визгом кидается назад. Пчёлы за ним. Я приседаю в надежде, что беда минёт стороной, но тут словно иглой колют мне под правый глаз. Пчела отрывается и начинает тяжело подыматься. Я вскрикиваю от боли и бегу следом за братом. Пчёлы носятся над нами, бьют в голову, в шею, путаются в волосах, жалят. Если бы не высокий бурьян, нам пришлось бы туго.

Домой возвращаемся с воем. Глова моя становится деревянной, словно кто сдавливает её со всех сторон. Глаз совсем заплыл, щеку тянет вниз и, как что-то прилепленное, она трясётся при ходьбе. Изверга тут же наказывают, а меня стыдят:

– А ежели он тебе в печь велит лезть, полезешь?

– Не-е, – реву, – В печь не полезу-у...

– И на том спасибо, – говорит дедушка, – Поди, жала выну.

10

Двое нас в комнате – я и Светланка. Почему мы вдвоём и никого больше нет, не знаю. Нам скучно, мы уже во всё переиграли и не знаем, во что бы ещё поиграть.

– В жених и невесту давай играть? – предлагает Светланка.

– Как?

– Эх, очень даже абныкнавенна. Ты будешь жених, а я невеста, и мы поженимся.

– Как?

– Эх, очень даже абныкнавенна – как все люди женятся.

– Как?

– Ну что ты расказакался, как маленький? Как, да, как! Очень даже абныкнавенна! Ты меня любишь? Ну, говори!

– Я не знаю.

– Как это ты не знаешь, ежели ты жених? Тоже мне, жених! Ну? Говори.

– Чего?

– Беда, прям, с тобой! Говори: я тебя люблю.

– Я тебя люблю.

– Ой! Я тебя тоже... Ну? Чего молчишь опять? Говори.

– Чего?

– Давай поженимся?

Я повторяю.

– Дава-ай... И чего стоишь опять, как пень?

– А чего надо-то?

– Как это – чего? Как это – чего? А целовать невесту, кто будет – дядя?

– Я не хочу.

– А зачем тогда говорил, что любишь?

– У тебя рот шершавый.

– А ты шибздик!

– А ты дура!

– А я тебя выше! – и она встает на цыпочки рядом со мной.

Я тоже встаю на цыпочки.

– Нет – я!

– Нет – я!

Спор заканчивается борьбой. Я побарываю Светланку, оседлав, раскидываю её руки во всю ширину.

– Ну, кто выше?

Она начинает хлюпать носом.

– Больно, что ли? Сама выше захотела быть, ну! Кто выше?

– Пусти, дурак!

– А ну повтори!

– А кто же ты? Невестов только дураки побарывают!

Я встаю и начинаю оправдываться:

– А я откуда знал? Ты же не сказала! И первая дразниться стала!

– А ты тоже! Хорош гусь! Замуж уговорил, а целовать не

хочешь! Всё маме скажу!

– А я!.. А я – папе! А мой папа твою маму поборет!

Осень. Холодное беспросветное небо. Невесомый косой дождь, туман. Скучно на улице. Деревья голы, скелетной худобой оголились плетни. Не деревня – а пепелище. Дома черны, поля вокруг перепаханы.

Пасмурно и в избе. Сажу у печи и смотрю на костёр внутри. Не могу оторвать глаз. Когда прогорают дрова, бабушка разгребает угли по сторонам и ставит чугунок с похлёбкой, закрывает заслонку. Затем вываливает из дежи тесто на посыпанный мукой стол, срезает с боков длинным ножом. Небольшой кусочек теста опускает в крынку с водой – на закваску. Тяжело дыша, месит тесто. Утирает фартуком пот с лица. Через определённое время вынимает чугунок из печи. Разбивает синеющие угли и сажает хлебы, укладывая их на капустные листья, чтоб не пригорали снизу.

Хорошо сидеть у печи, когда на улице сыро. Тепло, бездумно и так сладко-грустно на душе. В избе темно от бревенчатых стен, а печь празднично бела, и занавески на ней чистенькие, лишь ухваты рогато чернеют в углу да лежат на полу кочерга с совком.

Видя, что бабушка немного освободилась, прошу чего-нибудь рассказать.

– Уж и не знаю, право, чего... – по обыкновению отвечает она. – Разве что про звездочёта не баили...

– Который звёзды считал?

– Нет. Звездочёт тот вроде кудесника. Судьбу по звездам угадывал. Ну, слушай. Жил, стало быть, на свете звездочёт. Звали его... А вот, как звали, забыла, имя больно чудное, ненашенское. Допытался, значит, он по звёздам, что родился в Русалиме Царь Израиля. Продал всё, что у него было, а было не мало, не молоденький уж был, в годах, купил на вырученные деньги три камня-самоцвета, сел верхом на коня и подался к месту встречи с другими звездочётами. Не один он этим делом занимался, были и другие. Ну и сговорились сообща идти в Русалим. Дороги у них не то, что наши: леса дремучие, реки кипучие, пески сыпучие. Словом, нелёгко путь. И народ разный – и добрый, и недобрый. Не все Бога помнили. И в тех дремучих лесах водились разбойники. Едет он – и вдруг стал под ним конь. Глянь, а на дороге человек почти нагишом лежит. Голова в крови, стонет. Соскочил наземь звездочёт, втащил бедолагу на коня, назад поехал. Пока возился с ним, сроки и прошли. Он и не заметил даже. А когда спохватился – чуть не расплакался с горя. Спрашивает его тот, которого он из беды-то вызволил: «О чём горюнишься?» Так, мол, и так. «Ты, баит, не переживай так-то, а доподлинно мне известно из старинных книг, что в Вихлееме Иудейском должен народиться Царь Израиля. Ступай – там Его встретишь». Загорелась в нём надежда. Продал он один самоцвет, нарядил караван из верблюдов и в путь. Долго ли ехал, не знаю, но добрался-таки до Вихлие-

ма... А маманьки, а батюшки! Это что же тут делается? Глядит, и глазам своим не верит. Бегают по улицам бабоньки с маленькими ребятишками на руках. За ними царские солдаты гоняются. Детишек отымают и на глазах у матерей бьют головками оземь, иных мечами секут. Осатанели. Вбегаёт со страху звездочёт в рядошну избу, а там молодуха с мальцом мечется, не знает, куда сокровище единственное от беды спрятать. А солдатня уж тут как тут, сапожищами по приступкам топаёт. Взмолилась она: «Спаси сынаньку, мил человек, Господь тебя не оставит». Сжалился над ней звездочёт, достал второй самоцвет, сунул начальнику, что над солдатами командовал. Ушли. Спрашивает он её: это что тут такое? И поведала она ему о рождении необыкновенного Младенчика, о том, что приходили к Нему на поклон мудрецы, похожие обликом, мол, на тебя, человек добрый. А как узнал про то Ирод-царь – велел всех малышей сничтожить. «И что, баит, неужто убили Его?» – «Нет, мол, батюшка, а слышала я, бежали они всем семейством в Египет». И подался звездочёт туда. Не близок путь до Египта, но и там звездочёт не застал никого. И долго с тех пор ходил по свету в поисках своего Царя. Седым стариком уж прибыл на праздник в Русалим. Глядь, а и тут неладное творится. Бежит по улицам народ, кричит: «Казнь! Казнь!» И когда прознал, сердешный, кого на кресте распяли, как последнего разбойника, опустился на камень, что при дороге лежал, да заплакал. И почто только столько лет бестолку скитался? Кому нужен его самоцвет?

Достал его из кармана, повертел в руке и хотел бросить с досады, да услышал крик. Смотрит: ведут солдаты невольницу, с виду его краев уроженку. Признала и она земляка, в ноги кинулась: спаси, помоги. Он и выкупил. Остались вдвоём. И двух слов смолвить не успели, как затряслась земля, посыпались камни с высоких стен Русалима. И надо такому случиться, один камень возьми и угоди в голову звездочёту. Повалился сердешный наземь с окровавленной головой. Молодка склонилась над ним. И вдруг слышит, как он в своём предсмертном часе глядит куда-то вверх и спрашивает кого-то: «Это когда же я видел Тебя жаждущим и алчущим, или в темнице и помог Тебе?» И тут лицо его просияло как солнце в полдни. «Так это, баит, был Ты?» – и помер.

Бабушка смахивает набежавшую слезу. Я тоже весь во власти воображения. И смерть, эта страшная смерть уже не кажется мне такой страшной, как прежде.

Бабушка встаёт с табурета. Прихватывая тряпицей, снимает с твора заслонку. По избе растекается запах печёного хлеба, аппетитный, так и сглатываешь слюну. Бабушка поддевает хлебы деревянной лопатой, кидает на стол и слегка смазывает куриным пером топлёным маслом, которое тут же впитывается в корку, треснувшую где-нибудь сбоку, и накрывает хлебы полотенцем преть.

Угли задохнулись в печи, почернели. Бабушка выгребает их, складывает в ведро, а потом в специальный сундучок с другими углями. Часть засыпает в самовар, запаливает лу-

чины и, кинув их в горловину, приставляет трубу, втыкая её одним концом в самовар, а другим в «тягу» на печи. Самовар потный от холодной воды, тускло блестит медью.

– Это штой-то задумался? – спрашивает она его немного погодя.

Снимает трубу, заглядывает, а потом, сложив вчетверо полотенце, хлопает по горловине, как порой Сашке по голове. Приставляет трубу на место. Самовар, наконец, начинает сопеть, издаёт тоненький свист, поверхность подсыхает, становится зеркальной, и я строю рожицы кривому мальчику с широким, как у китайца, носом и сплюсненной сверху головой. Когда самовар закипает, бабушка снимает трубу и накидывает заглушку – из пароотвода летят брызги.

Сквозь запотевшее оконце сочится тусклый осенний свет, на улице пасмурно и холодно, а здесь, в протопленной баньке, с выстоявшимся смолистым духом, жарко и уютно. Стены, потолок, каменка – всё чёрное, закопчённое. Тихо посапывает каменка. Дедушка трясёт над ней веником – подсушивает.

– Не жарко? А то поди в предбанник. Попарюсь, потом вас помою.

– Не-э, не жарко... – храбрюсь я, сидя на корточках на полу.

Тельце моё раскраснелось от жару. Я закрываю рот ладошками, чтобы не так горячо было дышать. Сажу на корточках, склонив голову меж колен. Пот бежит по лицу, попадает в глаза, в рот. Солёный, вкусный. Тело моё тоже покрывается капельками, как трава росой. Капельки набухают, а затем стекают грязными ручейками. Дедушка зачерпывает из таза, где недавно парился берёзовый веник, и плещет на каменку. Камни взрываются белым облаком, пепел вместе с жаром садится мне на спину. Я дышу часто-часто и всё одно задыхаюсь.

– Деда, жа-арко, деда, – хнычу я и ползу к дверям.

Дедушка осторожно, чтоб не обжечься о пар, слезает с полки и отворяет мне дверь. Я быстро выползаю в предбан-

ник, дверь захлопывается.

«А как в Аду?» – думаю я, припоминая бабушкины истории о мучениях грешников. Предбанник мне теперь представляется Раем.

Сашок сидит на лавке и наблюдает за мухой, которой он оторвал одно крыло. Муха прыгает, переворачивается на спину и дрыгает лапками. Братцу это кажется забавным. Я сажусь на лавочку, устало опускаю руки на колени. Плечи тяготит, голова кружится, сердце бьётся сильно, слегка подташнивает.

– Сто, упалился? – спрашивает Сашок.

Он уже замёрз сидеть тут, кожа на нём гусиная, а всё равно не идёт в баню, боится.

– А жарко как!

– У нас самая залкая баня в дилевне, – хвастается брат. – А папка ыссо сыбсе палица. Лас, лас себя веником-ти. Выбезыт – и в снегу валяца. А потом ыссо палица.

– А ты что не паришься?

– У меня баска клузыца. Один лаз я дазы о сюгунок тлеснулся. А вылосту, тозы буду палица.

Минут через десять выходит дедушка. Он долго сидит отпыхиваясь и постанывая, глядя нас мутными глазами. Наконец приходит в норму, открывает отдушину, слегка выстужает баньку, и тогда мы с Сашком идём мыться. Сначала дедушка моет нас самих (как обычно в банях), а уж потом, под конец, наши головы. Моет щёлоком, который получается, ес-

ли печной золы положить в воду, когда она осядет, постоит, получится щёлоч. Волосы от него становятся мягкими, нежными, как шёлковистый кукурузный покров на початках.

Из бани выходим затемно. И я, шагая по тропке, среди вишен, чувствую своё горящее лицо, лёгкость и приятную задумчивость в голове. На столе блестит самовар, чаёк душистый, со смородиновым листом. Сахар наколот маленькими кусочками, которые долго и приятно тают во рту, когда прихлёбываешь из блюдечка. Пот бежит по лицу, и я вытираю его полотенцем.

– Сидит это она перед зеркалом в бане, спиной к двери. Глядит, отворяется дверь и входит суженый. Касивый, нарядный, статный. Залюбовалась она на него и забыла зеркало-то перевернуть. Он ей ожерелье на шею одевает, норовит обнять, тут уж она испугалась, перевернула быстренько зеркало, глянь – а на шее удавка. Ещё бы чуть-чуть и задушил.

– А я помню, в девках забежишь за амбар, портки снимешь, голу задницу выставишь за угол и ждёшь. Коли мягкой лапой погладят, богатый жених будет, а шершавой, так – бедный. Так кто-то шутейно раз и приложи мороженой лопатой, три дня сесть не могла. Девки смеются: «Нюр, богатый ли жених выпал?»

Мы с Сашком ловим с печи каждое слово. Разговор начинается потихоньку. У того корова приболела, вымя твёрдое, серпу не жуёт. У того овца отбилась от стада ягниться в лес, и третий день не выходит. Но когда тьма становится гуще в прорези белых занавесок, в избе словно пропадают стены, мрак по углам, жёлтое пятно ползает по закопчённому потолку, над поскрипывающим зонтом керосиновой лампы. В красном углу заветно порхает спасительный огонёк лампадки. Речь заходит про Ивана Зыбина. Женщины спорят. Одни говорят, враньё, другие, нет, в самом деле, замечали неладное.

– А вот что дедушка тятэ сказывал после соборования. Дело у него вышло по молодости с Зыбиным-старшим, что летось на огороде помер с полным ртом земли. Был, говорит, я тогда лет шестнадцати, было у них семеро детей в семье и все девки, он поскрёбыш. Баловали его сызмальства, а в лета вошёл, совсем от рук отбился. Отец видит, маху дал, завёл разок в амбар, да отходил плетью. Два дня лёжкой лежал. А чего добился? Нет, ты учи дитя, пока поперёк лавки лежит. Только озлился парень. «Погоди, думает, тятка, отольются тебе мои слёзы!» Замкнулся. А тут старик Зыбин, как ворон добычу учуял. То да сё, и уговорил малого. Сладились сойтись в полночь у того на сеновале. Приходит, а старик уже ждёт. «Летучая мышь» чуть горит. Лошадь фыркает, копытом бьёт. А собаки по деревне развылись – страсть. «Готов, парень?» – Тот: сказал, дак чё? «Сымай, говорит, крест». Снял. «Клади под левую пятку». Не послушался. «А теперь, говорит, прыгай». Тот глянь: а под ним геенна огненная. Он со страху-то и перекрестись. Так куда чего делосся. Старик аж задрожал от злости: «Догадался, щенок!»

– А ну тя, Нюра, врёшь ты всё! – машет на неё рукой бабушка, а сама крестится.

Нюра божится, вытараща глаза. Все молчат. Тихо. Когда немного уляжется страх, подпустят ещё. Мы ни живы, ни мертвы. Но больше всех мне нравится слушать бабушку, проникновенный певучий голос её у всех вызывает слёзы, не важно, о чём бы ни заговорила.

– Шла, стало быть, Она, Заступница наша, под видом странницы по заметеленной дороге, – начинает бабушка, глядя куда-то в угол, са ма в необыкновенном волнении, точно всё это сейчас и происходит у неё перед глазами. – Ночь выдалась морозная, ветер колючий да хваткий. Подходит она к одной деревеньке, где жили не то кулугуре, не то татаре, Бог весть, что за люди такие, только все, как один, непутёвые. Стучится в крайнюю избу: «Пустите, люди добрые, переночевать». «Самим спать негде. Иди своей дорогой», – был ответ. Во втором дому ещё и обругали. В третьем собакой давай травить. И так вся деревня. Она же просто измучилась от долгого пути, шла спасти грешников по распутьям и никто Её признать не хотел. Зашла Она на зады, села и заплакала. И вот, откуда ни возмись, набежала на деревню туча, загремел гром, засверкали молнии. Пророк Божий Илья, заступник обиженных, разгневался на жестоких жителей. Запылала деревня. Понеслось пламя по ветру от избы к избе. Поскакали все на волю, кто в чём был, скотину с хлебов выпустили. Крик, стон, скотина ревёт, а слёз что!.. Она же, Матушка наша, увидев горе народное, сжалилась над непутёвыми. Не вмещало Её сердечко обид. Сняла с себя покров, подняла на руках. Увидел Илья спасительны омофор – и отступился.

Напряженное молчание, вздохи, всхлипывания и сквозь слёзы Нюрино:

– А-и мы-те все хуже татарвы: нелюбовные, неблагоприятные, завидушие!..

Подходит, наконец, день разлуки. Не знаю, так ли мне хочется домой, в свой пригородный «совхоз», но на душе у меня тоска который день подряд, куда-то всё тянет, чего-то хочется. Я многое уже начинаю понимать иначе. Как? Этого я ещё объяснить не могу. И только всё чаще как бы с удивлением оглядываюсь вокруг, словно в ожидании подарка. Бабушка все вечера напролет рассказывает свои истории, но они уже не так действуют на меня, я скучаю и даже порой плачу по ночам.

Но вот подкатывает к дому «Победа», которую отчим взял напрокат. Появляется мама. Я реву и жмусь к её ногам.

– Эх ты-ы, ревушка-коровушка, дай молочка, – говорит мама, глядя меня дрожащей рукой по голове. – Погляди лучше, кого мы тебе привезли! Сестрёнку Ирину.

Глянув на перевязанное красной атласной лентой одеяло, я ещё пуще заливаюсь слезами.

– Не хочу Ирину, хочу домо-о-ой...

Все входят в избу. Ирину определяют в люльку, которую принёс откуда-то дядя Степан и приладил на веревках к кольцу в матице, распеленывают. Я подхожу и с неприязнью разглядываю малышку. Лицо коричневое, нос пу говкой. Я злюсь непонятно от чего и всё мечтаю обрезать ножом верёвку, чтобы люлька с сестри цей грохнулась об пол. Но вскоре

сестра просыпается. Мы смотрим друг на друга, она улыбается, открыв потешный беззубый рот, злость моя проходит, и всё время до нашего отъезда я нянчусь с сестрицей, трогаю украдкой от мамы «грязными руками» её розовые прозрачные пальчики, пятки, мягкие, как у Барсика, помогаю купать, подавая то мыло, то ковш.

И вот уже – ясный погожий денёк, бабье лето, летят по воздуху паутинки, садятся на голые кусты смородины, на стебли пижмы, полыни. Нас провожает почти вся деревня. Бабушка закладывает снедью всё свободное пространство в машине. Прощаясь, плачет. Дедушка подымает меня на руки и, вынув из кармана пастушью дудку, дарит на память.

– Держи, пастухом будешь!

– Ещё напророчишь... – возражает мама.

– Не забудешь дедушку?

Я изо всей силы трясу головой.

Сашок незаметно суёт мне в карман рогатку.

В машине долго смотрю в заднее стекло. Едем. Сашок несётся следом, остальные стоят на дороге, сиротливо склонив головы.

Теперь нет ни деда, ни бабушки. Деревенька захирела, развалилась, как и многие деревеньки в нашем многострадальном отечестве. На месте, где стояли дома, на кучах битого кирпича, уныло качается крапива да лебеда.

Смотрю на погост, на высокий бурьян, скрывший могиль-

ные холмы с покосившимися, а кое-где упавшими крестами, и всё опять встает в моей памяти.

Царствие вам небесное, родные мои дедушка и бабушка, пусть всегда сияет Гришина луна над погостом, охраняя ваш вечный покой!

Школа

1

А всё началось с телефонного звонка. В понедельник позвонил Митя, бывший одноклассник, друг детства, и сообщил, что двадцать третьего апреля, в пятницу, будет отмечаться семидесятилетие школы, которую мы окончили тридцать девять лет назад, соберутся выпускники всех лет, хорошо бы увидеться.

Ни на одном из прежних юбилеев я не был, казалось бы, всё и вся забыл, а тут и засвербило, и потянуло на воспоминания, просто спасу нет, тянет и тянет, да ещё с такими подробностями, подумать только, столько лет пошло, а разволновался как школьник.

Накануне пятницы объявили штормовое предупреждение, и под утро разразилась самая настоящая буря. За окном сверкало, гремело и лило как из ведра, шиферное железо на крыше гаража ходило ходуном, полоскало по ветру космы берёз, переломило надвое липу у соседей напротив, и она чуть было не легла на электрические провода, хотя свет и так потух.

И по мере того как за окном разыгрывалась буря, во мне самом откуда-то из самого «далёка» подымалась буря.

Я лежал без сна, с открытыми глазами, и временами даже не слышал, что творилось вокруг.

Наконец, не выдержал, поднялся, отыскал в книжном шкафу среди кип потрёпанных журналов старый фотоальбом и убрался на кухню. Школьных фотографий оказалось немного. Первый, второй, седьмой классы, окончание десятого, последний звонок и выпускной вечер – не густо. И почти на всех снимках – наша первая учительница Анна Ивановна. Когда задают вопрос, за что мы любим первую учительницу, обыкновенно отвечают, за то, мол, что была она такая внимательная, такая добрая, такая отзывчивая, и всё это – то, да не то: мы любим первую учительницу за то, что она первая.

Интересно, жива ли, и если жива, сколько ей теперь – восемьдесят два-три?

На фотографии первого класса, сделанной на фоне школьного сада, выражения лиц у большинства хмурые («домой хочу-у», «где мама?»), у некоторых гримасы, и только двое на шутку фотографа улыбнулись. Девочки в белых фартуках, мы в гимназической форме с белыми воротничками, без фуражек. Сосчитал – тридцать девять учеников. Вот это класс!

Из первых лет учёбы помню лишь отдельные эпизоды. И в первую очередь – прописи в букваре, такими они казались необыкновенными, словно написанные каким-то волшебником. Даже у Анны Ивановны, когда писала задание в наших

тетрадах, такими великолепными они не получались. У нас и подавно, хотя были, наверное, и пятёрки в тетрадах самых прилежных учениц. Из мальчиков, по-моему, никто не блистал в чистописании.

Парты тогда были не прямыми и не серыми, а наклонными и чёрными, с откидывающимися низами. Прямой была только верхняя узкая доска с двумя утопленными чернильницами-проливайками, а были ещё – непроливайки, в основном домашние, и если такую чернильницу уронить, содержимое не проливалось. В те же, что находились на партах, дежурные перед уроками наливали из бутылок чернила. За ночь они, как правило, высыхали, и хотя были фиолетовыми, усыхая, отсвечивали болотной зеленью. Для ручек и карандашей рядом с чернильницами были выдолблены овальные углубления.

Во всех тетрадах имелись красные промокашки, из-за клякс быстро терявшие свою первозданную красоту. А вот бумага была отвратительная, серая, шершавая, постоянно цепляющаяся за железное перо, а уж если примет кляксу, то обязательно развезёт до форменного безобразия и непременно испортит настроение. Писать такими перьями, да ещё на такой бумаге было настоящей мукой. Стоило неосторожно выйти из нажима, и перо, зацепив волокно, все старания сводило на нет. А надо было писать не абы как, а красиво, без клякс и помарок, почему предмет и назывался чистописание.

В старших классах писали авторучками, которые тоже надо было заправлять чернилами и почти каждый день промывать, поскольку, засыхая, чернила не хотели плавно поступать на перо и либо не писали, либо пускали кляксы.

По неискренности своей дети доверчивы, поэтому до пятого класса были мы как бы на одно лицо: в одинаковой форме, у мальчиков чёлки, у девочек косички с бантиками, сначала прилежно носим октябрятские звёздочки, затем пионерские галстуки, учим одинаковые стихотворения, поём одни песни («Орлёнок, Орлёнок, взмахни опереньем...»), у нас общий идол – Ленин, и, следуя его «святому» завету, мы не лазаем в общественный сад не только за вишней, но даже за китайкой, которую у нас и за яблоки-то не считали.

О космонавтике, по-моему, и говорить не стоит. Кто из нашего поколения ею не бредил, не мечтал стать космонавтом, чтобы полететь на Луну, на которой тогда побывал один Незнайка, или к краснокожим, недоразвитым (а то бы сами давно прилетели) марсианам? И я всё, помнится, недоумевал, как могут они там, на Марсе, жить, когда всё вокруг – вода, трава, листья, цветы, овощи, фрукты – красное, и вдобавок ко всему кровавые у всех зубы и глаза? Нет, не хотел бы я жить на Марсе.

Поскольку тогда мы свято верили, что Бога придумали питекантропы «от страха к грозе», вера в Него представлялась нелепой и смешной, а все её последователи необразованными невеждами. Попадались, правда, среди них люди неглу-

тые – Пушкин, Гоголь, Достоевский, например, – но и они представлялись немножко недотянувшими, поскольку, сами посудите, жили при свечах, ездили на лошадях, ничего не знали про синхрофазотроны...

Помню игру в молодогвардейцев. Штаб находился в бывшем курятнике нашего сарая – метров десять квадратных клетушка с потолком, полом, на который девчата для уюта постелили старенький домотканый половик, а на маленькое оконце повесили занавеску. Мы с ребятами из старых досок сколотили стол, лавку. Из фанерного почтового ящика и медной проволоки соорудили рацию для связи с Москвой. Ульяной Громовой единогласно избрали самую боевую и разговорчивую из нас, Валю Фокееву, а по школьному Кешу, дочь учительницы (не нашей, а на класс старше). Мне за кучерявость досталась роль Олега Кошевого. И вот чего в пику фадеевскому роману мы не могли допустить, так это сбросить себя в шахты, поскольку в отличие от молодогвардейцев не оказалось у нас предателя (никто не захотел быть), а значит, были мы неуловимы, но ради справедливости – не неуязвимы, и всякий раз по возвращении с опасного задания девчата перевязывали наши раненые головы и поили замечательной колодезной водой (раненые же всегда просят пить: «сестра, воды») и кормили чудесным хлебом из глины. Поджигать обычно ходили соседние сараи (немецкие склады с боеприпасами), зато под откос пускали уже настоящие поезда (в километре от штаба проходила железная дорога на

Москву), так что ни один вражеский поезд к столице нашей Родины на нашем участке фронта не прорвался. Другие подробности помню смутно. Зато хорошо помню, когда нас выследили, мы ушли в партизаны и в нашем ельнике, куда зимой ходили кататься на лыжах, полдня копали землянку. До мозолей. Но таким это оказалось тяжким занятием, что глубже метровой, полтора на полтора ямы, одолеть нам так и не удалось. И уже ничего не оставалось, как только вернуться к мирной жизни.

В связи с этой историей припоминается инсценировка о войне. В светлом коридоре старой деревянной школы накидали на пол сена и устроили что-то вроде партизанского лагеря. Девчата в раздобытых где-то гимнастёрках и пилотках кружком сидели у декоративного костра, над которым висел котелок, и пели военные песни. Представлялась этакая романтика войны. Мы даже не задумывались о том, что война – это мухи, вьющиеся над смердящими трупами, оторванные ноги и руки, море вшей, грязь, болезни, иначе – такое, что нельзя передать словами, невозможно изобразить, и даже сами фронтовики охотно бежали от пережитых ужасов в романтический вымысел киношных и детских постановочных войн. А если подумать, даже порежь палец, когда разнесёт, ведь белый свет не мил. А тут – пуля, дай Бог, если навyleт, а то и засядет, или осколком снаряда срежет кисть руки, разворотит живот, оторвёт ногу на mine, обожжёт до неузнаваемости лицо в горящем танке. Всё это я понял го-

раздо позже, хотя, может быть, и раньше, глядя на инвалидов Великой Отечественной, догадывался, почему не показывают в кино и не пишут на полотнах ужасов войны. Даже в военной кинохронике их в меру – как демонстрация зверств нацизма. А покажи всё, как есть, ни в кинозале не высидишь, ни дома картину такую не повесишь. Это уже потом, позже появятся выставки с изображением инвалидов Великой Отечественной, сначала голливудское, а затем и наше натуралистическое кино.

Моё поколение ещё застало инвалидов войны, собиравших подаяние в пригородных поездах и на базарах – на каталках, на протезах, с гармониями, балалайками. Потом они куда-то исчезли. Куда именно – никто не знал и вопросом таким не задавался. Ну, исчезли и исчезли. Неумолимое время стирало из памяти ужасы недавней войны, запрещалось (или не смели?) показывать их в кино, изображать на полотнах, описывать в литературе. Короче, запрещался весь тот натурализм, который, подобно помоям, обрушится на неподготовленного зрителя и читателя в девяностые.

По сравнению с другими, были мы, наверное, всё же поколением счастливым, которому достались в удел всего лишь остров Даманский («На Уссури под солнцем тает лёд. / Зима сгустила голубые краски. / Под лёд ушёл семидесятый год / – тех, кто погиб на острове Даманском») да взбунтовавшаяся Чехословакия, младшим братьям пострашнее – Афганистан, детям ещё более отвратительная по причине повального пре-

дательства, – Чечня. Что достанется внукам – судя по тому, что происходит сейчас в мире, не могу даже представить.

Ещё припоминаю, как на одном из школьных утренников Кеша прочитала забавное стихотворение, которое, наверное, поэтому осталось в памяти.

*У меня трусы в горошек – хороши да хороши!
Все мальчишки приставают: покажи да покажи!
Ну, а ты, большой дурак, что не приставаешь?
У меня трусы в горошек – разве ты не знаешь?*

Но ещё более вдохновенно в старших классах, разумеется, читала популярные в те годы стихотворения слепого Асадова («Парень со спортивную фигурой. / И девчонка – робкая душа...», «Они студентами были, они друг друга любили...») По рукам ходили затрёпанные книжечки сборников его стихотворений. Тёмные очки придавали его поэзии нечто романтическое.

2

Вряд ли этапами нашего взросления можно считать табеля успеваемости. Были тогда такие коричневатые складные открытки из рыхлого картона, с пятью столбиками успеваемости – четыре четверти, годовой итог и в самом низу отметка по «поведению». В младших классах, практически, у всех – примерное. Поэтому только с пятого или даже с шестого класса, когда мы узнали, что такое второгодники, в нас стало проявляться то, что принято называть характером. Проявлялся он помимо и даже вопреки тому, что на протяжении многих лет методически сеяли в наши души. Я не о знаниях, а о так именуемом долге. Все же тогда были перед любимой Родиной и Партией в неоплатном долгу. Октябрята, пионеры, комсомольцы – все должны были быть честными, принципиальными, непримиримыми, верными, целеустремлёнными... И во всём этом торжественно клялись. В стенах школы, на уроках, пионерских собраниях, слётах, митингах из говорильных дырок всё вроде бы правильно говорилось, и никто с этим даже спорить не собирался, но стоило выйти за пределы школы или зайти в мужской туалет, не только из говорильных дырок и носа, но даже из ушей некоторые ловкачи умудрялись табачный дым пускать. Писали или царапали на стенах и дверях неприличнейшие слова, связанные, как правило, с собственным происхождением (никаких аистов и

никакой капусты!), играли в трясучку на деньги, безжалостно расстреливали невинных птичек из рогаток, зорили вороньи гнёзда, топили в норах полевых мышей, вели перестрелку бузиной из осиновых трубочек на переменах, подкладывали друг другу кнопки на сиденья парт, кропили чернилами уши впереди сидящих одноклассников с помощью расчёски и пера, и даже вместо уроков, сидя на замызганных портфелях в совхозном саду, играли в свару на деньги. Всё это считалось взрослой жизнью. И тех, кто не желал в ней участвовать, презирали, дразнили маменькиными сынками и даже били. Касалось это в основном нас, мальчиков. Девочки жили своей отдельной от нас жизнью. Разумеется, со всем этим безобразием боролись – осуждали, порицали, ставили на вид, выводили к доске, вызывали родителей, отсылали к директору школы, стыдили, оставляли на второй год, грозили детской колонией, старались хоть чем-нибудь занять. Кому-то помогало, кому-то не очень, а кому-то на всё это было глубоко наплевать. Поэтому только после восьмого класса, когда, наконец, схлынули все эти неучи и хулиганы, нас перестали делить на учеников из благополучных и не благополучных семей.

В те годы мир, рисуемый школьными учебниками, средствами массовой информации, кинематографом, большинству из нас представлялся таким чистым и светлым (во всяком случае, его будущая ипостась), что хамы воспринимались, как нечто пещерное, недоразвитое и отсталое. Не так

уж и много их было (большинство просто подпадало под дурное влияние и лишь единицы росли в соответствующей обстановке), но именно эти хамы задавали тон поведения в подростковом периоде. «Не ходи к ним, не дружи с ними» – это мы слышали от своих родителей постоянно. Родители не понимали, что не ходить и не дружить – означало ни больше, ни меньше, как сидеть дома и не высовывать носа на улицу, а больше и ходить было некуда. В подростковый период, казалось, вообще без общения с ними нельзя было шагу ступить. И стоило прикоснуться, не столько затягивало, сколько давало тем повод и даже право считать тебя им обязанным. От этих прав и обязанностей страдало в основном среднее школьное звено, и только в старших классах наступала относительная свобода.

Тогда было принято считать, что человек с детства призван готовить себя к какой-нибудь общественно полезной деятельности (ты кем хочешь стать? а ты кем будешь?), на самом же деле, все готовятся только к созданию семьи. Ни одну работу нельзя любить больше семьи. И с самого детства девочки, например, готовятся к тому, как её обустроить, мальчишки – как прокормить и защитить, и в то время, когда первые нянчат и кормят кукол, вторые – воюют, летят, едут, девчата в играх больше сидят, мальчишки – вечно куда-то мчатся. Совместные игры, как правило, сопровождаются любопытством к противоположному полу. Вопреки мнению взрослых дети рано начинают понимать назначение

полов (надписи в школьных туалетах тому порукой). С возрастом любопытство усиливается и, переходя в обоюдный стыд, начинает кружить голову и возбуждать вполне определённые желания.

3

С этой минуты, на мой взгляд, и надо бы отсчитывать время нашего взросления.

Происходило оно у всех по-разному, и моё началось в старшем отряде пионерского лагеря, куда нас с двоюродным братом Сеней, моим ровесником, отправляли несколько лет подряд под присмотр работавшей воспитателем тёти Таи, Таисии Петровны. В тот год мы окончили седьмой класс, старший нас на пять лет двоюродный брат Женя, сын тёти Таи, – автомеханический техникум и по распределению готовился к отъезду на Сахалин. О старшем брате я упомянул не случайно. Думаю, всякому прошедшему школу дворовой жизни понятно, что такое старший брат. И хотя подзатыльники и пинки он отвешивал нам порой весьма чувствительные и учил далеко не одному добру, тем не менее, был единственной опорой и защитой. Характера же был горячего, на месте сидеть не мог и даже по лесу, собирая грибы, носился как лось, не утонишься. И нам, малышам, не раз приходилось проходить испытание на прочность в полуторакилометровом пути до станции железной дороги, и дорогу эту я запомнил на всю жизнь. Натаскивал нас брат и в беге сначала на короткие, а потом на длинные дистанции, заставлял качаться гантелями, эспандером, и если кто-нибудь начинал выпрямиться, удалял от своей светлости увесистым пинком

или трескучим подзатыльником, а поскольку это было равнозначно выбросу за борт корабля, приходилось смиряться. Несмотря на свою видимую расхлябанность, брат никакого отношения к уличной шпане не имел, хотя, как безотцовщина, вполне мог бы, но держала в ежовых рукавицах тётя Тая. Помню, как после окончания восьмого класса, когда брат пришёл домой «с запахом», тетушка отвесила ему увесистую оплеуху, и на моё удивление брат скулил в ванной комнате, как сопливый щенок. Теперь, надеюсь, понятно, почему наши родители со спокойной душой каждое лето отправляли нас в пионерский лагерь.

Однако тётушка за нами не особо следила, считая маленькими, и мы, частенько уходя за территорию лагеря, шатались по огромному сосновому лесу и наслаждались безграничной свободой – тянули кислый дым самокруток из дубовых листьев (гаванские сигары!), жгли костры, потрошили вдоль трассы телефонный кабель, выкусывая зубами разноцветные провода для радиолюбительских целей. И если по дороге в лагерь в автобусе следом за всеми нехотя пели: «Ах, картошка, объеденье, денье, денье, денье, / Пионеров идеал, ал, ал. / Тот не знает наслажденья, денья, денья, денья, / Кто картошки не едал, дал, дал», бредя по лесу, дружно выводили: «Как всегда, мы до ночи стояли с тобой. / Как всегда, было этого мало. / Как всегда, позвала тебя мама домой – / Я метнулся к вокзалу». Поскольку стоять да ещё до ночи нам было рановато, исполнялось всё это в виде хохмы и, чтобы

скрыть друг от друга стыд вполне определённых желаний, мы, как идиоты, выкрикивали на весь лес конец припева – «Эей!» – и ржали как жеребцы. Далее этого дурацкого смеха комментарии не простирались. О том, что нам нравилась наша вожатая, не произносилось вообще. Была она старше года на три, с ответной на всякую шутку улыбкой, обнажавшей крепкие зубы, задорная, общительная, способная даже на ладан дышащего расшевелить.

Но вот однажды приехал Женя – с надменностью в глазах, ворот рубашки стоечкой, что называется, увидел – и, уж не знаю каким образом, мы очутились в лесу вчетвером. И это бы ничего, и более многочисленные толпы по лесу бродят, да посмел, видите ли, при людях, то есть при нас, пусть хоть и брательник, положить нашему идолу левую руку на плечи, правая при этом незаметно махала в районе таза кому-то ладошкой – сваливайте, мол. Мы непонимающе оглядывались – кому это он знаки подаёт, вроде, никого тут из посторонних нет, только свои? И, с недоумением пожимая плечами, естественно, никуда сваливать не собирались, даже после того, как длань превратилась в кулак. И долго немолчный стрёкот кузнечиков и завораживающее пение птиц сопровождало наше торжественное шествие, пока, наконец, не пришли в лагерь, после чего обнаружить нас брату не удалось, но и совершить плохой поступок – тоже.

Тётушка, сама того не подозревая, подогревала наше воображение, довольно живописно пересказывая содержание

романа «В щупальцах спрута» – о женщине, полюбившей американского шпиона. Как это почему? Да потому, что в отличие от «наших деревенщин», был он «таким галантным кавалером, с хорошими манерами», водил «бедную женщину» в ресторан, дарил цветы – это шпион-то, враг заклятый! – а тётушкин взгляд заволакивался мечтательной грустью. Мы нетерпеливо торопили: «А дальше, дальше?» И хотя происходило это, практически, каждый вечер, и все перипетии сюжета мы знали наизусть, всё равно просили: «Таисия Петровна, а расскажите, пожалуйста...». И тогда началось. Приходили девчата из-за перегородки, усаживались на наши кровати, и все, затаив дыхание, слушали.

Для старших отрядов по воскресным вечерам устраивали танцы на низкой деревянной, ничем не огороженной площадке под аккордеон. Сеня хотя и был, по сравнению со мной, городским, но с девчатами ужасно застенчив. Немногим отличался от него и я и, тем не менее, отважился однажды пригласить девочку, в светленьком коротеньком платьице, на «медленный танец». Была она одного со мною роста или чуть повыше, тогда как большинство девочек были выше меня, тогда коротышки, чуть не на полголовы. Долго, помнится, не мог решиться, а потом всё-таки как во сне подошёл и пригласил. Девочка была не из нашего отряда, светловолосая, голубоглазая, с таким же, как у меня, выражением изо всех сил скрываемого чувства гордости и стыда на окаменелом лице. Я едва держал её за талию, она насквозь

прожигала ледяными пальцами через рубашку мою хилую грудь. Мы неумело покачивались из стороны в сторону в такт музыки, больше всего на свете боясь глянуть друг другу в глаза. Только после того, как окончился танец, я подумал, что надо же было спросить, как её зовут. Пригласить же на второй танец или подойти познакомиться я не отважился бы ни за что на свете. И долго потом мечтал о том, что, когда вырасту, обязательно разыщу её и на ней женюсь.

4

Следующим этапом взросления был выпускной вечер у брата Сени и мой первый поход на Нижегородский откос с его восьмым «бэ» классом. Тогда была в моде только что исполненная Татьяной Дорониной песня «Я мечтала о морях и кораллах...», и её, не переставая, пели под гитару по дороге туда и обратно. Пели и «ес ту дэй», и переведённую на русский «гёл» – «помню как-то шёл я ночью по аллеям парка,/ чтоб взглянуть в открытое окно», – с оригинальным почему-то припевом – «о-о, о-о, гё-о, о-ол» – и много чего ещё. Большую часть пути вместе с нарядными толпами шли пешком. Перед этим тайком от родителей выпили сначала с «мужиками» в сарае по «пять капель» водки, затем под присмотром родителей у кого-то на квартире с «бабами» по «три глотка» шампанского, и весь путь до откоса ни одна из девчат не хотела верить, что, оказывается, и я тоже восьмой класс окончил. Все, как одна, оглядывая мою низкорослую шуплую фигуру и моложавую, без единого прыщика, физиономию с кнопочкой-носом и невинным взглядом младенца, в один голос уверяли: «А на вид – так класс пятый, ну шестой от силы, не больше, правда, девочки?». И тогда я настырно требовал задать мне какую-нибудь задачу по алгебре или теореме по геометрии – «Пифагоровы штаны на все стороны равны», – чтобы доказать им, что и я такой же «большой».

Но о каких задачках может идти речь в такой знаменательный день? И потому только, что от «пяти капель» водки и «трёх глотков» шампанского был я вдребединушку пьян, а стало быть, безумно храбр, со всеми девчатами тут же перезнакомился, а у одной даже выпросил адрес и всё шептал ей, державшей меня с левой стороны под руку: «Я тебе обязательно напишу, вот увидишь!». Была она, как и прежняя, «лагерная», голубоглазой и светловолосой. С другой стороны меня тоже держала под руку девочка, и как-то её тоже звали, и на кого-то из артисток она, «как две капли воды», была похожа, но на кого именно и как зовут, убей, не помню. По правде сказать, и эту заснул бы, кабы не обнаруженный поутру в грудном кармане испачканного каким-то извергом пиджака адрес. Дома меня тоже не узнали. А кто ещё не узнал? Так одноклассницы брата. Собственно, из-за кровавой обиды и уехал. А то, видите ли, вчера в темноте я им намного старше показался! Надо ли добавлять, что именно поэтому никакого письма я так и не написал. И не просто изорвал в мелкие клочки и с яростью кинул на землю, но и затоптал в грязь с таким трудом выпрошенный вчера адрес. «Вы ещё пожалеете!» – едва сдерживая подступающие слёзы обиды, пригрозил я им всем в уме, но, увы, практически, до следующих каникул оставался таким же хлюпиком. Это уже потом, по окончании девятого я добровольно, а не из-под палки, займусь бегом, не считая простой гимнастики и полётов во сне, и первого сентября с удивлением обнаружу,

что стану почти одинакового роста с самыми рослыми одноклассницами. Тогда же, после восьмого, я ещё тянул ляжку пай-мальчика, хотя именно в ту осень был посвящён в душещипательную историю, которая якобы произошла с Митей, другом детства, на картошке, куда тот ездил от своего ПТУ. Суть дела излагалась в стихотворении:

*Не могу рассказать, что там было в кустах:
Муки, радости, буйное пламя?
Лишь в послушных твоих, чуть дрожащих губах,
Больше не было слышно «не надо».*

Был шедевр гораздо длиннее, но, думаю, и этого четверостишья достаточно, чтобы войти в курс дела. На мои наводящие вопросы Митя многозначительно ухмылялся, и когда я категорично заявил: «Врёшь!», потащил меня в город, на Ворошиловский посёлок, где в одном из слабоосвещённых барачков жила эта его на всё согласная «казноба». Но мы её так и не дождались, к кому-то она ушла на день рождения. Второй раз ехать в эти трущобы я не решился, а потом Митя сообщил, что она ему изменила, долго переживал, топиться, слава Богу, не стал, и вскоре вместе со мной занялся спортом. До сих пор существуют фотографии, на которых мы в тайне от всех кидаем друг друга на песках.

Почему не в спортзале? Потому что как такового спортзала в нашем посёлке, считавшемся окраиной города и даже деревней, не было. Какое-то время организовали его в

старом деревянном клубе, в котором до строительства нового, каменного, мы, ребяташки, смотрели фильмы, сидя или лёжа на полу. И если в старом клубе детские билеты стоили пятак, а взрослые гривенник, в новом – соответственно, десять и двадцать копеек и сидеть на полу было неудобно из-за высоты сцены. Да и мест хватало, к тому же особо популярные ленты крутили по несколько дней подряд в два сеанса. И всё-таки старый клуб мы любили больше. А как удобно было сидеть или лежать, опираясь на локоть, на полу перед низенькой сценой! Особой популярностью пользовались, само собой, «Чапаев», породивший массу анекдотов (Василий Иванович, глядя вслед удаляющейся белой разведке: «Ух, пронесло!» Петька: «И меня – тоже»), «Александр Невский» («Кто с мечём к нам придёт, от меча и погибнет»), «Истребители» («Мы парни brave, brave, brave, и чтоб не сглазили подружки нас кудрявые...»), «Небесный тихоход», кинокомедии «Волга-Волга» («Ты «кричи теперь» не кричи теперь, а кричи «совершенно секретно»), «Свинарка и пастух», и завершался репертуар индийскими фильмами, с нудными песнями и девушками с кнопками во лбу, которых никому так ни разу и не удалось поцеловать. Так после открытия нового клуба, в старом, пока не снесли, и устроили спортзал. Как таковой секции бокса не было, зато шлемы и перчатки имелись, и нас, малышей, для потехи, как петухов, старшие ребята частенько заставляли биться на сцене до кровавых соплей, тогда как между собой почему-то нико-

гда не дрались, хотя все, как один, тягали штангу и лупили грушу. Затем спортзал перекочевал в старый магазин, стоявший на стыке главной улицы с тротуаром, ведущим к новому клубу, – убогая одноэтажная засыпушка, куда собирались, к сожалению, не только из спортивных интересов, но чтобы раздавить пару пузырей, перекинуться в картишки, забить козла, пока притон, наконец, не прикрыли и здание не снесли. А вот в школьный спортзал, несмотря на низкие потолки, собирались уже исключительно из спортивных интересов. В нём же для нас, школьников, устраивали осенние, весенние, новогодние и выпускные вечера в сопровождении настоящего вокально-инструментального ансамбля.

Нашим первым классным руководителем была старшая пионервожатая Рената Ивановна, с которой мы сдружились, наверное, ещё и потому, что она нам ничего не преподавала, находясь на штатной должности «двигателя революции». Без заметных сучков и задоринок она довела нас до восьмого класса, после чего началась чехарда смены классных руководителей, приведшая в итоге к расхлябанности дисциплины. Сидели уже кто с кем и где хотел, а мы с Ткачёвым, соседом по парте, вопреки господствующему коллективизму, даже додумались до открытой пропаганды обособленности общественных отношений, в пику всему «человечеству» считая себя «индивидуумами», игнорирующими общественные нагрузки – собрания, самодеятельность, сбор металлолома, макулатуры... И доигнорировались. Нас не приняли вместе с классом в комсомол, что означало ни больше, ни меньше, как закрыть дорогу в высшее учебное заведение. А ещё потому не приняли, что на вопрос, для чего хотим вступить в комсомол, мы с юношеским максимализмом заявили, что не только в комсомол, но и в партию впоследствии намерены проникнуть для достижения исключительно меркантильных целей. («Все, мол, только ради этого и живут, и только прикидываются идейными»). Такого издевательства даже самый рядовой комсомолец не смог бы перенести, так что проник-

нуть в данную организацию нам удалось только через год, когда мы для видимости исправились, и ввиду стопроцентного плана, конечно. И получив необходимые для карьерного роста документы, занялись прежней «подрывной деятельностью», походившей больше на забаву, чем на действия по убеждению. Тогда никто и предположить не мог, во что подобного рода забавы впоследствии выльются. Государственный корабль на всех парусах уверенно шёл в исключительно правильном направлении, никому даже и в голову не приходило, что, оказывается, мы не мчимся, а стоим. По правде сказать, никакого стояния мы не наблюдали. Жажда новизны, как и во все времена юности, конечно, была, но это ничуть не умаляло радости от переживания текущего момента – очередной влюблённости, например, способной, казалось, развеять любой мрак. Да и мрака, собственно, никакого не было. Такими же упоительными были летние, осенние и весенние вечера, так же ослепительно цвели по весне сады, с шумом и гамом гнездились на вершинах тополей вороны и галки, жизнь ни на минуту не прекращала своего головокружительного течения, в которой мы чувствовали себя полноценными участниками торжества.

Следующий этап взросления относится к тому времени, когда в наши ряды влилось пополнение из расформированного 9-го «вэ» класса.

Тот год был особенно драматичным в моей жизни, поскольку благодаря одноклассникам брата и пэтэушной истории друга детства я, наконец, понял, что катастрофически отстаю в безнравственном и физическом развитии от уходящих в мир взрослых ровесников.

И это притом, что ни одна из стрел беспортошного (не я их такими придумал изображать) Амура не пролетала мимо моего сердца. Прежние были ничто по сравнению с теми, что полетели в меня с первого сентября. Очевидно, до этого античный персонаж пристреливался, теперь же разил наверняка.

Начиналось, как правило, с переглядывания. Как бы случайного. Раз глянешь, два глянешь... И вот тебе уже отвечают. Чем чаще, тем чувствительнее. Наконец, доходит до того, что ты боишься лишней раз повернуть голову, потому как стоит повернуть – и Амурашвили (по-грузински – сын Амура) простреливает тебя насквозь.

И всё же считаю, никакой такой первой любви нет, а есть только опыты, предваряющие создание семьи. Наверное, поэтому в каждой новой возлюбленной в первую очередь пред-

полагалась единственная. То же самое у девушек. Во всяком случае, наше поколение в большинстве своём было таким. И я прекрасно помню, как на уроках (пока не сделают замечание), по дороге из школы, в школу, дома, о том только и мечтаешь, что вот, наконец, придёт время, и вы поженитесь. Разумеется, это были самые сокровенные, никому не открываемые мечты. А какую на первых порах они доставляли радость! Такое впечатление, что ты обрёл сокровище! Ни о ком и ни о чём другом ты думать не хочешь и не можешь! Время сладостное, но мучительное.

Я лично начал мучиться ещё до написания записки, с просьбой проводить после уроков – предложение вечной дружбы (а в юности всё представляется вечным) должно было быть высказано тэт а тэт и, разумеется, не в первый вечер. Если бы мы учились в первую смену, вряд ли бы я отважился и на записку, и на провожание, ибо идти один на один рядом с девушкой посреди бела дня, да ещё неся в руках два портфеля, да ещё когда ты ниже её на целых три сантиметра, было тогда сильнее самой сильной любви. А вот тёмным осенним вечером, когда никто не видит...

Ещё до написания записки, я знал, что моя избранница живёт за речкой, на улице Весенней, и само название улицы придавало её образу какое-то особенное очарование. И это потому, видимо, что, в отличие от Пушкина, весну я любил больше, чем осень. Как раз – из-за того, из-за чего не любил её великий поэт: из-за «томления в крови».

Глядя на фотографии того времени, не могу понять, что привлекло меня к ней. Напряжённо погружаясь во многом уже тёмное пространство памяти, улавливаю озарённый заходящим солнцем овал лица, тревожный взгляд, и то душевное волнение, под воздействием которого даже самое заурядное лицо становится привлекательным. Думаю, гораздо больше в моей влюблённости было фантазии, того, что определяется словом дорисовать. И я, помнится, всё дорисовывал и дорисовывал, придавая всё большее и большее очарование оригиналу. Дошло до того, что однажды, будучи больным, с температурой, не выдержав пытки, притащился на уроки.

Не помню, почему у нас не срослось. Что именно помешало дальнейшему течению катастрофически, во всяком случае, для меня, развивающихся событий, помню только, что вскоре я оказался в страдательном положении, и что спасла меня от безответной любви музыка. Даже по прошествии стольких лет история с музыкой не кажется мне нелепой. И хотя я заявил, что никакое дело нельзя любить больше женщины, видимо существуют ещё какие-то особенные флюиды, которые способны потушить даже такое сильное пламя.

Тогда, на очередном занятии в музыкальной школе, я впервые на собственном опыте узнал, что такое вдохновение. Гораздо позже я узнаю, что только благодаря ему существуют все виды искусства, тогда же для меня это было настоящим открытием. Помню, как захватило оно меня, как

услышал я внутри себя ни на что не похожую, ни разу не слышанную до этих пор мелодию. Что это было, не знаю, но она так навязчиво звучала во мне, что я, наконец, решился её записать. Однако сразу после скрипичного ключа завяз на размере (три или четыре четверти – всё не мог определить), наконец, решил, определю потом. Происходило это на уроке сольфеджио, в одном из небольших музыкальных классов, в полуподвальном, без окон, помещении огромного городского ДК, тогда как занятия по специальности проходили в светлых комнатах третьего этажа. Мы писали очередной диктант, но я, опустившись на пару линеек ниже, стал торопливо записывать звучавшую во мне мелодию, сверху нотного стана попутно проставляя гармонию – латинское обозначение аккордов, которые тоже прекрасно слышал. Продолжалось это до тех пор, пока подобно грому не разразился надоевший голос преподавателя – неприятной из-за постоянной сухости в лице тридцатилетней женщины: «Это ещё что такое?»

Я инстинктивно захлопнул тетрадь и как обнажавшую заветную тайну улику прижал обеими руками к столу, не хотел из-под своих рук выпускать. Но она всё-таки вытащила тетрадь и, развернув, несколько томительных секунд молча в неё смотрела. Затем глянула на меня, опять в тетрадь и, к моему удивлению, впервые улыбнулась. «Не ожидала, – призналась она. – Только сразу определись с размером. Три четверти, кажется. И последние два аккорда, по-моему, не те.

Ну, и впредь желательно заниматься этим вне урока».

Весь оставшийся день был подобным сумасшествию. По обыкновению после занятий в музыкальной я ехал в школу. Ездить приходилось на рейсовом автобусе, около получаса пути, если не задерживал переезд, и минут десять приходилось топтать от остановки. Если же переезд задерживал, я, как правило, немного опаздывал к началу уроков. Поскольку это не было связано с разгильдяйством, опоздания мои считались уважительными. Вообще, всё, что было связано с нашими помимо школы занятиями, принималось с уважением. Так и говорили: а вдруг будущий Чайковский растёт? Поэтому всякий раз, когда после предварительного стука и разрешения войти, я появлялся в классе, учитель говорил: «Проходи-проходи. Из музыкальной? Садись на место». В этот раз даже учитель, глянув на меня, спросила: «Не заболел? Вид у тебя какой-то... Ни жара, ни температуры – ничего не чувствуешь? Нет? Ну, проходи...»

И я, пройдя на своё место за первой партой, в течение всех уроков и перемен продолжал лихорадочно писать музыку. И только по дороге домой заметил, что за весь этот день не только ни разу не глянул в «ту» сторону, но даже ни разу не вспомнил о своей несчастной любви. Так началось моё постепенное охлаждение, не сразу, но всё-таки сошедшее на нет.

В романах часто описывают пространные разговоры влюблённых. На мой взгляд, когда любят, совершенно не о

чем говорить. Любые разговоры всегда не о том, и либо уводят от чувства, либо тщательно скрывают главную его суть – обоюдное желание. В век нынешней раскрепощённости, во многих современных фильмах, например, отбросив слова, герои сразу же приступают к делу – и всё это подробно показывают для назидания непосвящённых. Нашему поколению подобного рода дела представлялись катастрофой. Да что – дела, даже первые поцелуи. Многие из нас до окончания десятого, а некоторые и до самой женитьбы не знали, что это такое. И если когда и доходило до поцелуев, то совранных непременно нагло, силой, что, как правило, завершалось пощёчиной, оставлявшей после себя чувство оскорблённого достоинства с одной стороны и чувство шпанливой гордости или неискупимой вины с другой.

Большинство из нас тогда считали, что любовь должна быть одной-единственной на всю жизнь. И если у тебя с одной, с другой, с третьей не склеилось, тебя негласно записывали в позорный список коварных изменщиков. Девушки в это число не попадали по причине страдательного положения, поскольку не они, а их оставляли (разлюбляли или разлюбивали?), и опять же выбирали не они, а их, хотя случались, правда, и среди них Татьяны Ларины, а попросту «липучки», с которыми, подобно Евгению Онегину, никто никаких дел иметь не хотел, во всяком случае, в одном классе, в одной школе, в одном дворе, в одном посёлке, где, практически, все друг друга знали, друг к дружке присмотрелись,

друг другу порядком успели надоесть, – но стоило появиться приезжим, вся округа тотчас подымалась на дыбы.

Вспоминаю сестёр-близняшек, молдаванок, поселившихся недалеко от школы. То, что с их появлением началось, нельзя назвать любовью, а какой-то повальной эпидемией. И я под окнами их дома да у крыльца, на котором по вечерам появлялись экзотические сестрицы, вместе с зараженными толпами потолкался. Необычная масть близняшек многих тогда свела с ума. Меня, разумеется, тоже. И отступился потому лишь, что со старшими по возрасту претендентами на этукую невидаль просто не котировался. Кстати, когда пришло время, обе вышли замуж, и не абы за кого, а за самых-самых.

Хорошо помню тот день, когда Саня Никитин, стоя в проёме настежь открытого окна и потряхивая в руке подкинутым нашему новому, четвёртому по счёту, классному руководителю сорвавшим урок анонимным письмом, кричал:

– Последний раз спрашиваю – кто написал?

Его тёмные кудри трепал лёгкий сентябрьский ветерок, голову нимбообразно обрамляло зависшее над крышами одноэтажных домов посёлка вечернее солнце. Урок был сорван в самом начале, когда Янина Александровна, вчерашняя студентка исторического факультета, стройная, подтянутая, быстрой походкой войдя в класс, обратила внимание на свёрнутый вдвое тетрадный лист, на котором крупными печатными буквами было выведено её имя и отчество. «Мне?» Она окинула удивлённым взглядом притихший класс – и класс ответил ей тем же. И тогда, развернув листок, она стала читать. И по мере того, как читала, лицо её каменело.

– Нет, я, конечно, за откровенность, – совершенно неузнаваемым голосом, наконец, выдавила она, – но чтобы вот так...

И, положив анонимку на стол, демонстративно вышла из класса. Выбежавшая следом Кеша вернулась с известием, что «Янина плачет». Класс загудел. Со всех сторон полетели угрозы и угрозы автору анонимки.

– Уважаемая! – возвысил голос Ткачёв и его усыпанное веснушками щекастое лицо, как и подобает «индивидууму», приняло надменное выражение (моё за компанию – тоже). – Человечество желает ознакомиться с содержанием возмущившего их обывательский покой послания.

«Человечество» хотя и выразило незамедлительное согласие, однако же кое-кто и огрызнулся: «Единоличники! Ставят из себя! Идиотизм какой-то!» Простому смертному это могло бы показаться оскорбительным, индивидууму же – никогда, а потому, даже не поведя бровью, вальяжно отвалившись назад и выставив из-под парты ботинки, с оббитыми носами, Ткачёв заявил:

– Уважаемая, человечество уполномочивает вашу светлость огласить содержание.

– Я?

– Увы, но человечество вам доверяет.

По оглашении анонимки, возмущение достигло апогея. Все требовали сочинителя, «если только не трус», сейчас же выйти к позорному столбу, то есть к доске, а поскольку никто не выходил, Саня, как самоназначенный председатель следственной комиссии, состоявшей из него одного, вынужден был пойти на крайние меры.

– Ну? – с вызовом повторил он и высунулся в окно.

Класс замер.

Но никто так и не сознался.

И в доказательство того, что не шутит, Саня прыгнул со

второго этажа. Мы сразу облепили окно: Саня лежал на боку, обняв руками поджатые под себя ноги, и, задрав вверх голову, стонал от боли. Трое ребят сыпанули на улицу, кто-то из девчат хотел бежать в медпункт, но их вовремя остановили – не хватало нам ещё этого скандала, и так мы считались трудным классом.

Содержание написанного печатными буквами письма было следующим:

«Уважаемая Янина Александровна. Ваши жалкие попытки втиснуться в наше доверие, ничего кроме жалости и снисхождения к вашей ординарной личности у подавляющего большинства не вызывают, зря стараетесь».

Кто до этого додумался, так и осталось тайной, хотя многие подозревали именно нас, индивидуумов. И это понятно. Наше ироничное отношение ко всему «святому», да ещё так откровенно выпячиваемое наружу, не только удив ляло, но и бесило.

И все-таки до анонимки додумались не мы, во всяком случае, не я. И вместе со всеми ходил к Янине на покаяние.

«Яни-ина Александровна, прости-ите нас, пожалуйста. Ну, пожа-алуйста...»

Уж эти юные сердца! Всего-то и стоило Янине разок всплакнуть, чтобы покорить нас навеки. И когда выяснилось, что «классная» беременна, и скоро уйдёт в декретный отпуск, нашему горю не было предела. Пару раз мы даже навещали её в городской квартире. Первый раз она всего лишь

вышла к нам на лестничную площадку, поддерживая руками уродливо, по-муравьиному торчавший на её худенькой фигуре живот. Девчата шептались по этому поводу: «У Янины муж – у-у-у...» Второй раз я не поехал, а те, что ездили, представили фотографию, на которой с ребёнком на руках, в окружении десяти преданных учеников, растрёпанная, совершенно не похожая на прежнюю стройную, классную даму сидела наша Янина.

Опять же о прозвищах. По-моему, только труды вёл Колбасник, оттого что всё время питался варёной колбасой, остальных учителей звали либо по фамилии, либо по имени отчеству, либо по названию предмета, который преподавали – физичка, химичка, географичка, математик... Скабрёзными прозвищами, которые, разумеется, были, как правило, пользовались только хамы.

И всё же самые волнующие события происходили на школьных вечерах. Их почтительно называли балами, и кроме танцев под первый вокально-инструментальный ансамбль, на них ставили сценки, читали душещипательные стихи (в основном Асадова), играли в ручеёк, разыгрывали интеллектуальную лотерею, носили почту – любовные анонимки или подковырки.

Поскольку на взрослые танцы, которые зимой устраивали в местном клубе, а летом на танцплощадке в парке, нас ещё не пускали, первые шаги на танцевальном поприще мы делали на школьных вечерах.

Девушки обычно располагались по правой стене спортзала, мальчики – по левой. Напротив входа, между дверями в раздевалки – ансамбль: две гитары (ритм, бас), труба и ударник без большого барабана. Двое из музыкантов наши одноклассники-второгодники. Все девушки в них безнадёжно влюблены.

Слышу счёт палочек. Созерцаю притихший зал. Исполняют (без пения) «ес ту дэй». Петь по-английски в нашей французской школе ещё стеснялись, да и не умели, и вообще, более или менее сносно не скоро научатся петь. Но мы и такой, пусть хоть и примитивной, но всё же самой современной, в сравнении с баяном или аккордеоном, музыке неска-

занно рады. А как она волнует!

Из наших песен поют:

*Перчатки снимешь прямо у дверей,
Небрежно бросишь их на подоконник.
«Я так озябла! – скажешь. – Обогрей!»
Ко мне протянешь зябкие ладони.*

Или:

*У твоего подъезда снегопад,
Ты вся в снегу, боишься простудиться,
А я боюсь случайно ошибиться,
Мне хорошо четвёртый день подряд.*

Вот именно – ошибиться! А ну как пригласишь не ту, и вся жизнь – насмарку. Ведь уже до этих вечеров я был бесповоротно влюблён в девочку в пионерском лагере, потом в одноклассницу брата, у которой с таким трудом и клятвами выпросил адрес, но так и не написал, в одноклассницу с улицы Весенней, в молдаванок, а тут перед глазами две шеренги девчат из двух десятых, своего девятого и параллельного «бэ» класса. Положим, десятиклассницы все, как одна, тогда казались безнадежными старухами, но девчата из параллельного класса... О-о!.. А в десятом! Какое удовольствие доставляло смущать одною только развязной походкой таких ещё робких, таких ещё пугливых девятиклассниц! Но это,

опять же, в десятом, после усиленных спортивных занятий и полётов во сне, а тогда со мной, коротышкой, никто даже и танцевать не хотел. Нет, положим, какая-нибудь самая несимпатичная и пошла бы, да разве можно, пригласив такую, ошибиться навек? А потому танцевали в основном девушки с девушками, а мы делали вид, что на них внимания не обращаем, по всякому поводу и без повода хватаясь за животы – «ну, умора». Ну, а девушки... А девушки делали вид, что им очень нравится танцевать друг с дружкой, порою даже не позволяя себя разбивать. Мы, помнится, так и говорили: «Пойдём, разобьём вон тех», заранее определяясь, кто с кем танцевать будет. Всё же не так стыдно, когда в одиночку подходишь, а тебе отказывают. А бывало, пригласишь, тебе откажут и ты, не разбирая, идёшь вдоль шеренги, приглашая всех подряд, а тебе, как назло, все до одной отказывают. Уж это ущемлённое самолюбие! Переступить через него (на виду у всех получить серию отказов) не каждому было по зубам. Поэтому чаще всего не танцевали.

Нет, конечно, были и такие из парней, которые совершенно спокойно подходили и приглашали, но не больше, чем на один танец – чтобы избежать подозрений и... случайно не ошибиться. Если же танцевали всё время с одной – это уже была ничего, кроме зависти, не вызывающая, самая настоящая любовь. Танцевать с одной и той же означало ни больше, ни меньше, как потом на ней жениться. Для иных целей у нас тогда с одной и той же не танцевали. Танцуешь, значит,

женись. Ещё и поэтому, наверное, я всё не мог выбрать себе будущую половину. И так до окончания девятого класса.

Начало последних каникул я провёл в трудовом лагере. Нас расселили по каютам второго этажа старой брандвахты. По вечерам мы собирались на верхней крытой палубе. Сидели на лавках и перилах и разговаривали о пустяках. Но после отбоя группами по двое, по трое прокрадывались в каюты девчат и до часу, а то и до двух ночи просиживали на кроватях своих избранниц. Если существуют мысленные поцелуи, таковые, конечно, были. Переступить же через эту мысленную черту у меня, во всяком случае, не хватало смелости. В воображении, правда, давно уже доходило и до поцелуев, а стало быть, и до официальных женитьб. Уж эти томительные минуты! На соседних кроватях обойдённые вниманием девчата делают вид, что спят, а на необойдённых мы никак не можем налюбоваться, они – на нас. Моя, как и все остальные, под одеялом, закрывшись до подбородка, жутким, как омут, взглядом влечёт меня к себе. Казалось бы, только наклониться и поцеловать, а стыд-подлец не допускает. И всякий раз, возвращаясь в каюту, я казню себя за эту нерешительность. Уверяю и даже даю себе слово, что в следующую же ночь обязательно «сотворю беззаконие», но, увы, всё до мельчайших подробностей повторяется вновь. И так до конца смены. Но и дома я не перестаю казнить себя за эту малодушную нерешительность. Преуспевшие в подобных делах ребята уверяют, что девчата не любят нерешительных, и

что наглость – второе счастье, может быть – и счастье, может быть, только, видно, не для меня.

А в начале августа появилась она. Сашенька. Из Астрахани. Астраханочка, как сразу стали её называть. Да ещё двоюродная сестра одноклассницы.

И вот мы впятером (три девушки и два парня) гуляем по нашей единственной асфальтированной дороге, ведущей через дамбу к кладбищу, – парами ещё стесняемся ходить.

Но гораздо чаще собираемся на брёвнах у сараев. Говорим о фильмах, поэтах, справедливости, трусости, предательстве, героизме, и ни слова – о любви. Вернее больше всех говорит Сашенька. Она горой стоит за справедливость, честность, порядочность. Её невозможно переспорить или переубедить. Если она что-то решит, то это уже окончательно и бесповоротно. Она не терпит глупых шуток, пошлых анекдотов, двусмысленности в разговорах: либо – либо, и никак иначе. Её начитанность вызывает у всех уважение, которое она принимает как должное. Во всём и всегда – она зачинщик и командир. И даже я, не только заядлый спорщик, но и несознательный комсомолец, во многом ей подчиняюсь. Во многом, но не в главном. И с жаром говорю, что не понимаю, почему именно «должен» быть честным, принципиальным, непримиримым, верным, целеустремлённым и тому подобное, когда давным-давно никто ни во что не верит.

– А ты?

– Только – в себя!

И тогда начинается. И единоличник-то я, и ставлю из себя неизвестно что, и не хочу быть как все, и что не живётся мне спокойно, и даже «помяни моё слово, когда-нибудь тебя посадят».

Но я упрямо стою на своём. Сашенька во время спора молчит, хотя к ней постоянно обращаются за поддержкой, но – не безразлична, а словно что-то пытается и никак не может для себя уяснить.

И когда все расходятся, мы на малое время остаёмся вдвоём. Просто сидим и молчим. И молчание это не кажется томительным или неловким. В деревянном коттедже на четырёх хозяев, где живёт Сашенькина бабушка, давно потушен свет, но бабушка не спит и ровно в одиннадцать, выйдя на крыльцо, кликнет внучку домой. В сказочном очаровании тихой августовской ночи дремлют за штакетником обременённые плодами яблони.

Мы сидим на брёвнах и наблюдаем звездопад. Загадываем желания.

– Успел? – всякий раз спрашивает она.

– Да, – отвечаю я. Поскольку желание у меня одно, не успеть невозможно, о нём нетрудно догадаться, но я никогда и никому о нём не скажу.

Сашенька в светленьком платьице, натянутом на поднятые к подбородку колени, в накинутом на плечи моём куцем пиджачке. Я в коротеньких брючках, новые купят только к

школе, а пока каждый вечер, прежде чем отправиться на свидание, с помощью марли и стирального порошка, я придаю им божеский вид. И, надо сказать, у меня это неплохо получается, но, вот досада, такими они за лето сделались короткими, что даже приспущенные на бёдра, чуть ли не до самого верха обнажают носки. Положим, сидеть на брёвнах – ещё куда ни шло, но подойти к честной компании даже при тусклом свете уличного фонаря было равносильно пытке. Скрашивала обстоятельство синяя нейлоновая рубашка. Во всей округе ни у кого такой не было, её не надо было гладить, она не линяла при стирке, а значит, никогда не теряла праздничный вид. Правда, немного холодила по вечерам, но это же такая мелочь для влюблённого человека.

Ни о каких чувствах меж нами не произносится ни слова, даже случайного, и между тем мы оба прекрасно понимаем, что между нами что-то «есть». И это нечто, никогда не называемое, понятно не только нам, но и тем, кто каждый вечер позволяет нам побыть наедине. А если бы не было, разве стали мы, подобно двум истуканам, сидеть на брёвнах, на которых до нас никто и никогда не сидел? Что время – эфемерная величина, я знал и до этого. Знал, например, что оно может тянуться томительно и долго или лететь быстро и незаметно, но ещё не ведома была для меня тоска разлуки, помноженная на не преодолимое обстоятельствами расстояние. Если даже теперь я не знаю, как убить время до вечера, в какую муку превратится оно, будучи помноженным

на триста тридцать четыре световых дня. Ночи я всё-таки предполагал спать, чтобы сохранить здоровье для будущего потомства. А будет у нас три мальчика и одна девочка. Три мальчика потому, что один сын – не сын, два сына – полсына, и только три сына – сын. Ну, а про девочек ничего такого не сказано. И потом, их и так по статистике десять на девять ребят.

– Ты действительно считаешь, что теперь никто ни во что не верит?

– Да.

– Для чего тогда жить?

– Да просто.

– Просто... Человек – не животное, он не может жить просто. Человек может жить только ради чего-то?

С этим нельзя не согласиться, но я всё равно не согласен. Говорю, что никакое «чего-то» не может быть дороже моей личной жизни уже потому, что она одна и больше никогда не повторится. Вот если я сам захочу её отдать – другое дело, но почему именно – «должен»?

– Тебе не хватает сознательности... Смотри, ещё одна упала!

– Не поэтому. Просто я никому ничего не должен... А вон – ещё!

Напряжённое молчание нарушает знакомый до последней нотки голос:

– Са-аша-а!

Мы слезаем со штабеля. Сашенька говорит:

– До завтра?.. И всё равно ты неправ.

– Может быть... На том же месте?

– Да... Я в этом почти уверена.

– И я... Спокойной ночи.

* * *

А в один из таких вечеров мы даже совершили подвиг.

Как-то дойдя до окончания дамбы, мы по обыкновению хотели повернуть назад, как вдруг услышали крик о помощи. Подойдя ближе, увидели две машины «такси», в которых шла борьба с одной стороны за обладание, а с другой за нежелание сделаться предметом этого несанкционированного обладания. Иными словами, два таксиста пытались всего лишь на один вечер жениться на тех, на которых даже под угрозой расстрела ни за что бы не согласились жениться. А это было неправильно. И мы решительно потребовали это вопиющее безобразие немедленно прекратить.

– А то вызовем милицию!

Не скрою, нам, мальчикам, было страшно. А ну как вылезут большие дяди, сдёрнут штанишки и нашлёпают по голой попе. Но при девочках мы изо всех сил стараемся казаться Александрями Матросовыми.

Но, к нашему удивлению, с нами даже спорить не стали – не выскочили, например, с монтажкой, не схватили за

грудки, даже на три нехорошие буквы не послали, – а тотчас открыли двери и выпустили «кавказских пленниц» наружу. «Кавказских» – потому, что после одноимённого фильма только «кавказские» не хотели замуж без любви.

Когда же вывалились из салонов «такси» полупьяные, накрашенные до совершенной потери личности, с распущенными волосами этикие бабищи на каблуках, я с удивлением подумал: «Ничего себе!».

«Такси» тотчас развернулись и укатили, а мы целый километр сопровождали несчастных жертв до автобусной остановки. И всю дорогу несчастные жертвы строили из себя оскорблённых невинностей, а мы кристально чистых советских граждан. Ведь форменное же безобразие, ну! Наши девочки были особенно возмущены, а мой напарник, как и я, делающий на ухаживательном поприще первые шаги, шёл ехидненько улыбаясь в сторону, и этой улыбочкой как нельзя лучше было сказано всё – те, с которыми мы дружили, и те, которых якобы спасли, были для нас далеко не одно и то же.

Расставание наше было скорбным. И скорбью, казалось, было пронизано всё вокруг. Подобно выплаканным материнским глазам каждое утро смотрело сверху безликое холодное небо, а цеплявшаяся за кусты и мотавшаяся по ветру паутина почему-то напоминала оборванные телефонные провода. Дома не сиделось оттого, что бездушная кукушка каждые полчаса, с шестерёночным жужжанием распахивая дверцу резного скворечника, методично отсчитывала приближающееся время неумолимой разлуки. Казалась она такой горестной, такой неизбывной, что я даже потихоньку плакал в подушку.

Незадолго до Сашенькиного отъезда мы обменялись адресами. Но до самого последнего дня нашего скорбного прощания я даже и мысли не допускал, что отважусь хотя бы напоследок её поцеловать. Забыл сказать, что, несмотря на мои интенсивные полёты во сне, была Сашенька не только меня выше, но и казалась взрослее (старшая сестра с младшим братом), и я, прекрасно понимая это, старался не встречаться с ней среди бела дня. И весь световой день, пользуясь льготой последних каникул, отсутствием домашних обязанностей, после утренней зарядки, слонялся по нашему лесу. Горестные мои думы были об одном: ну вот что она во мне нашла? И то сомневался в искренности её чувств, то бо-

готворил за несоответствующий её величия выбор. Действительно, было вокруг немало парней и повыше, и постарше, и решительнее, и уж, конечно, симпатичнее меня. Её двоюродная сестра, моя одноклассница, например, во время наших совместных прогулок совершенно открыто сходила с ума по Алену Делону (фильмы с его участием тогда были в ходу). Оказывается, был знаменитый француз не то метр восемьдесят шесть, не то метр девяносто ростом. Иными словами, куда мне до него, а поди ж ты, рискнула Сашенька так опрометчиво ошибиться. Значит, было же во мне что-то такое, чего не видел больше никто. Судя по фотографии – абсолютно ничегошеньки. Но воистину неисследимы глубины сердец девичьих!

Сказать, что это был самый печальный вечер, значит, не сказать ничего. Сначала мы сидели на брёвнах. И, пожалуй, это был единственный вечер, когда мы совершенно не обращали внимания на звездопад. Подперев коленями подбородок, Сашенька задумчиво смотрела перед собой, а я, искоса поглядывая на неё, исходил сладкой печалью, и разве что сознание мужского достоинства не позволяло мне заплакать.

– Год, это не так уж и много, правда? – спрашивала она.

– Конечно, – соглашался я.

И хотя мы оба прекрасно знали, что Сашенькин дед взял бабушку с ребёнком (её матерью) после того, как, вернувшись из плена, узнал, что законная жена, получив известие о «пропавшем без вести» муже, от кого-то понесла, мы даже

и мысли не допускали, что наша любовь может не выдержать испытания временем.

– И давай сразу договоримся: что бы ни случилось, ничего друг от друга не скрывать.

Стало быть, она всё же допускала, что может что-то случиться. Но, опять же, с чьей стороны? Лично я в себе был абсолютно уверен. И когда, наконец, бабушка кликнула её домой, ненадоедливо повторяя одно и то же: «Ну всё, пошла», Сашенька ещё какое-то время трясла мою руку совершенно не идущим к месту, исключительно товарищеским рукопожатием.

Утром она уехала – и мир для меня превратился в пустыню. Я перестал заниматься спортом и целыми днями привидением слонялся по начавшему желтеть лесу. Как такового леса было не так уж много, и довольно часто он прерывался просторами сжатых полей. Когда-то мы ходили сюда кататься на соломе. Заберёшься на высоченный стог, подберёшь под себя охапку соломы, и вихрем мчишься вниз, как с зимней горки. Иногда за этим занятием нас заставляли объезчики, и мы едва успевали скрыться от погони в лесу. Теперь за мною никто не гнался, но у меня было такое впечатление, что я от кого-то и куда-то всё время бегу.

Учебный год был ознаменован ожиданием ответа на моё первое письмо любимой девушке. Не лишне упомянуть о муках, которые я принял во время его создания. Даже на уроках чистописания я никогда так не старался выводить каж-

дую букву. Свои чувства я решил выразить не напрямую, а через стихотворение.

*Август. Приближается осень,
С тополей облетает листва.
И погода меняется тоже —
Не хочет дать солнца она.*

*И летят так дни незаметно,
Скоро учиться пойдём.
Только влюблённым хочется лета,
Ведь у них дружба навек.*

*Этот высокий тополь
Им знаком давно.
Он желтеет, а с ним уходят
Дружба, любовь и тепло.*

*Скоро придётся расстаться
И, может быть, навсегда,
Но дружбу, вместе с любовью,
Они унесут в сердцах.*

*Останется воспоминанье
Большой и светлой любви,
Тех первых слов признанья,
Что в них любовь зажгли.*

И хотя стихотворение не совсем правдивое, поскольку

листва с тополей в августе ещё не облетает, и не было не только первого, а вообще никакого признания, и всё «зажглось» само собой, без слов, зато совершенно точно передаёт моё душевное состояние.

Но уже с первого ответа на моё послание меж нами образовалась трещина.

Сашенькино письмо начиналось с краткой («неплохо») похвалы стихотворения, после чего на двух страницах подробно о том, что её выбрали комсоргом класса и теперь у неё и забот, и хлопот невпроворот («извини, даже с ответом задержалась»). Избрание своё она понимала как серьёзную ответственность, высокую обязанность и даже священный долг отныне быть для всех примером. Увы, на фоне моего ироничного отношения к комсомолии всё это выглядело карикатурой. Иначе любовь моя с первого письма пошла вразрез с Сашенькиной идейностью. Я не только не разделял её взглядов, но относительно моих представлений о любви они казались мне просто смешными. Была, правда, подаренная на прощание, несмотря на плохую приметку, что, собственно, для неё, как комсомолки, не имело никакого значения, фотография, с которой я засыпал и просыпался. Часами разглядывая Сашенькино изображение, я не мог совместить столь милого лица с идейным медноголосием её писем. Она писала о несознательных членах отряда, тогда как я именно к такой несознательной когорте оболтусов принадлежал. В то время, когда мне хотя бы между строк хотелось прочесть

нечто отдалённо напоминающее («они студентами были, они друг друга любили»), она писала о собраниях, о нарушениях дисциплины, о работе с несознательными членами коллектива. С кем-то она там всё время боролась, кого-то постоянно старалась откуда-то вытащить, чем-то общественно полезным нагрузить, тогда как я всеми правдами и неправдами от этого отлынивал. Если бы она писала хотя бы о погоде, я бы её понял. Но из месяца в месяц получать... даже и не письма, а какие-то заметки из комсомольского «Прожектора» было выше моих сил. Не удивительно, что ни одного стихотворения я больше так и не сочинил.

Короче, как только Сашеньку загнали в идейное русло, она постепенно перестала для меня существовать как человек. Её казённую мораль трудно было списать на юношескую наивность, как-никак, а всё-таки десятый класс. В то время даже в школе к нам относились как к взрослым, которых уже не надо было опекать. Нам позволялось то, чего не позволялось больше никому. Например, свободно проходить через кордон дежурных сквозь дождавшуюся у дверей начала уроков толпу учеников младших классов. Дежурные пропускали нас, почтительно отступив назад. Весь год мы чувствовали себя элитой, с которой школе вскоре придётся расстаться навсегда. Двоюродная Сашенькина сестра на этот случай даже где-то откопала песню.

В тихом городе ветер кружится,

*Свет в окошках давно погас.
Побеседуй со мной по-дружески,
Дай мне руку, десятый класс.*

*Здесь, влюблённые, до рассвета мы
Не смыкали счастливых глаз.
Мы делились с тобой секретами,
Наша юность, десятый класс.*

Влюблённым да ещё до рассвета нам гулять тогда ещё не позволяли, но только об этом были наши мечты. И только об этом, хотя бы в иносказательном виде, мне хотелось читать в письмах от любимой девушки.

А вместо этого, читал:

«Если бы ты знал, как я презираю предателей! И не только предателей Родины, но и предателей вообще! В глаза говорят одно, а за глаза другое. Это подло! Этого прощать нельзя! С такими людьми даже здороваться не надо! Таким надо прямо в глаза говорить: «Ты поступил подло! Ты подлый человек! Я тебя презираю!» А иначе ничего и никогда мы не построим. Мне говорят, что я слишком много на себя беру. А я отвечаю: «Кто-то же должен говорить правду! Не только жить, но и поступать надо всегда по совести!». И вот что я тебе хочу сказать. Я долго думала над твоим индивидуализмом. Я не разделяю твоих взглядов, но я не могу их не уважать, потому что это твоё убеждение. И совершенно согласна с тобой в том, что жизнь отдать или чему-то посвятить можно только

по убеждению. Когда нет убеждения, страдает главное. На своём месте я бы только честных и принципиальных учеников в комсомол принимала. И даже во всеуслышание заявила об этом. Зачем порочить ряды, допускать в них карьеристов? От этого страдает главное. Не хочешь быть комсомольцем – не надо. И без тебя обойдёмся. Но ради справедливости, не закрывать дорогу в учебные заведения. Пусть учатся и видят, как живут настоящие комсомольцы. А так получается, наприимали кого попало, и они всё дело портят. Кому это нужно? Не разделяешь взглядов – вон из комсомола!»

И в самом конце:

«Прости, опять я о своём. Как ты, как учёба, пишешь ли стихи, что у тебя новенького?»

А новенькое было совершенно из другой оперы. Вместо программных произведений по литературе мы с Ткачёвым, соседом по парте, тайком читали номера «Вестника русского студенческого христианского движения» за 1970 год, добываемые откуда-то его старшим братом-студентом – он, собственно, и заразил младшего всем этим, а тот – меня.

В № 97, например, на третьей странице была помещена фотография жизнерадостно улыбающегося Солженицына, с шкиперской бородкой, которому недавно была присуждена Нобелевская премия, а у нас шла травля. И об этом знали все, а вот что присудили не в простой день, как сообщалось во вступительной статье Никиты Струве, а в день памяти преподобного Сергия Радонежского, как и о самом пре-

подобном, я узнал впервые из этого «Вестника». В том же номере я впервые познакомился со стихами Мандельштама. Особенно поразившее меня стихотворение даже переписал, не открывая имени автора, для Сашеньки. Интересно было, что она по этому поводу скажет. Приведу его чуть ниже, а пока выпишу то, что заинтересовало меня. Выписываю только мысли, не называя авторов статей.

«Коммунистические представления о должном и запретном распространились и стали всеобщим нравственным стилем жизни. Атеистическое государство приводит к созданию сверхсистемы, из которой полностью исключена свобода, не какая-либо из частных свобод: совести, слова, собраний, которые исчезают с момента её возникновения, а свобода как таковая. Личность во всех планах своего общественного проявления попадает в чётко отлаженный и не зависящий от неё механизм чистой необходимости. В нём она даже теряет сознание своей собственной унижительной несвободы, теряет сознание, что она есть только средство для непонятной внечеловеческой цели, слепо осуществляемой общественным механизмом. Этому способствует всеобщая ложь, которая стала нормой существования».

Из всего этого мы с Ткачёвым сделали для себя только один вывод: мы никому ничего не должны, а сами по себе. И понятно ни строчки из этого я не переписал для Сашеньки. А вот стихотворение переписал полностью.

*Пустует место. Вечер длится
Твоим отсутствием томим.
Назначенный устам твоим
Напиток на столе дымится.*

*Так ворожащими шагами
Пустынницы не подойдёшь;
И на стекле не проведёшь
Узора спящими губами;*

*Напрасно, резвые извивы —
Покуда он ещё дымит —
В пустынном воздухе чертит
Напиток долготерпеливый.*

Она ответила, что «ничего из стихотворения твоего не поняла. Неужели сам сочинил? Для чего так туманно выражаешься? Первое было и проще и понятнее. Подозреваю, что ты просто попал под чужое влияние. Бери пример с Пушкина. У него всё просто и понятно».

Но Пушкина я тоже не уважал. И всё по той же индивидуалистической причине. Но написать об этом прямо не решился. Написал лишь, что «если бы поэзия исчерпывалась одним Пушкиным, скучно было бы жить». На что получил громоздкий ответ: «Да как ты можешь так говорить о Пушкине! Это же – Пушкин! Кто-то из великих даже сказал, что Пушкин – наше всё! Всё! Понимаешь?» Но я отказывался это понимать. Как это – всё? А я? А мой сосед по парте? А

другие что, ничего не значат? По Сашенькиному мнению выходило, что «значат, но куда меньше, чем Пушкин». И этим меня ещё больше оскорбила.

Вторая мировая война началась из-за деда Щукаря. Как раз мы «Поднятую целину» проходили. И я выразил мысль, что самый умный из всей шолоховской книги – дед Щукарь, что Нагульнов – просто дурак, Размётнов – типичный приспособленец, а Давыдов – кроме всего прочего, ещё и подлец. «Это надо до такого докатиться – с женой друга переспать!»

Ответ пришёл аж на пяти страницах. Переписывать не буду, потому что ничего нового для себя не открыл. Почти слово в слово из программных сочинений по литературе: «Направляющая и руководящая роль партии в романе Шолохова «Поднятая целина». Тьфу!

В ответном послании, понятно, я выразился более обтекаемо, для большей убедительности приведя слова тёти Таи, разумеется, не назвав её имени, что в кулаки самые работающие угождали, а раскулачиванием занимались дебилы, вроде Нагульнова, и ничего в крестьянском деле не понимающая заводская шпана, вроде Давыдова.

В ответ пришло: «Расстреливать за такие слова мало! Так своей знакомой и передай!»

Разумеется, я не передал. Ещё чего не хватало! Может, ещё и отца с матерью заодно расстрелять? Они с тётушкой были одного мнения. Ну, и меня в придачу – я тоже их мне-

ние разделял.

Третья мировая началась из-за фашизма. Вернее из-за того, что я сталинские порядки посмел с гитлеровскими сравнить. Мысль эту я выловил из того же «Вестника». Не вот напрямую: «коммунизм и фашизм – одно», а что-де очень похожие системы Сталин с Гитлером создали. И хотя на личность Ленина я не покушался, иначе бы уже не обыкновенная, а атомная война началась, всё равно вызвал очередное цунами.

«Неужели ты не понимаешь, что на незыблемость самого справедливого на земле строя замахнулся?!!»

А я никак не мог понять, причём тут строй, когда речь идёт о несправедливости в общечеловеческом масштабе?

Молчание длилось чуть не месяц. И я даже подумал, уж не попала ли под чью-нибудь оккупацию Астрахань и нам об этом, как о начале войны с Германией, из политических соображений не сообщают? Но нет, пришло-таки послание.

«Я долго думала и пришла к выводу, что ничего хорошего из нашей переписки не получится. Я не понимаю, или ты специально надо мной издеваешься, или ты на самом деле такой. У меня даже в мыслях не укладывается, как можно с такими взглядами жить! Это же просто аморально! Неужели ты этого не понимаешь? Или меняй свои взгляды, или я прекращаю с тобой все отношения!»

И вот я думаю, как быть.

Сижу порою по часу за письменным столом – и то уроню,

то опять поставлю перед собой Сашенькину фотографию. Размышляю: «И почему красивые такие упёртые?» Было такое впечатление, что в груди у Сашеньки не простое, а железобетонное сердце. Из-за чего, собственно, прекращать отношения? Из-за каких-то слов? Мало ли кто и чего скажет! И из-за этого крушить любовь? А может, она меня и не любит вовсе? Может, она просто шефство надо мной взяла, а как увидела, что ничего путного не получается, так и пинка под зад? Вон, даже расстреливать собралась! Интересно, а расстреляла бы? И я пришёл к выводу, что во времена ЧК – шлёпнула бы, глазом не моргнув. И решил откровенно написать ей об этом.

Думаете, четвёртая мировая началась?

Я тоже так думал. А в ответ пришло: «Не говори глупостей! И причём тут – любовь? Любовь не из одних чувств состоит! Если бы из одних только чувств состояла, чем бы мы отличались от животных?» И вправду – ничем. И всё-таки я стоял за независимость во взглядах. Можно, писал, и не спорить. Живут же люди в одной семье с совершенно разными взглядами. Хотя бы в нашей семье. Отец, например, считал, если у государства не украдёшь, то и не проживёшь, и со спокойной совестью вставлял плёнку в счётчик, а мама его за это всё время осуждала, но плёнку не вынимала. Даже когда он говорил: «Не нравится – вытащи». А она ему: «Сам вставлял – сам и вынимай. Ещё не хватало, чтобы я этим занималась». И по другим поводам они радикально расходи-

лись. Например, отцу из-за порядка, из-за снижения цен на продукты, из-за дешёвой водки нравился Сталин, а маме из-за простонародной справедливости – Ленин. И что им теперь – разводиться? Это даже и обсуждению не подлежит. Вот если бы отец за кем-нибудь приударил – тогда понятно. Но из-за партийности и антипартийности – это же просто смешно. И я в мягких чертах написал об этом. Тем более, Сашенька сама уверяла, что уважает мои взгляды.

Молчание на этот раз длилось больше месяца. А потом пришло: «Да, я это писала. Но я же не знала, что ты додумаешься до такого. Всему же есть предел. А у тебя его, похоже, нет. И что теперь – всю жизнь ругаться? И потом, мама твоя не секретарь комсомола, не секретарь партийной организации. А посмотрела бы я на неё, когда бы она хотя бы на моём месте один день побыла. И потом, кому много дано, с того спросу больше. И когда столько хамства вокруг, хочется, чтобы хотя бы близкие люди тебя понимали и поддерживали. А они наоборот – только предают».

И всё равно я не мог лечь под её убеждения.

И вот опять сижу, производя экзекуции с фотографией. Всё никак не могу решить, что со всем этим делать?

* * *

И тут как нарочно подвернулся Новогодний бал.

Поскольку о нашей вечной дружбе не только в классе, но и

по всей школе ходили слухи («Аж из самой Астрахани подцепил!»), если б кого и рискнул пригласить на танец, был бы неправильно понят, но белый танец снимал все подозрения.

И вот хотите – верьте, хотите – нет, но как в песне, «красивая и смелая», взяла и всей школе дорогу-то перешла. Иначе, на виду у классных руководителей, секретаря комсомольской организации и целых четырёх классов, прошла через весь зал и пригласила меня на белый танец.

И после этого я виноват?

Положим, от такого везения я чуть не свихнулся! То прикоснуться к слабому полу не смел, а тут... Ну, и понеслось, поехало... Тебя как звать?.. А тебя?.. Ты из какого класса? Что-то я тебя раньше не видел... Видно, не в ту сторону смотрел... И всё в таком роде.

Оказалась из девятого класса, с гордо вздёрнутой головкой, светленькая, в коротенькой юбочке, на каблучках. А глаза – просто синь поднебесная! Утонуть можно! Что со мною, можно сказать, и произошло. До того аж, что только с ней до конца вечера и танцевал – кроме быстрых танцев, разумеется. А потом провожать пошёл.

Таковыми глазами Кеша на меня ещё никогда не смотрела! Даже мороз по коже пробежал! Но я уже катился под гору – не остановить. Тем более, оказалось, что синеокой я уже давно приглянулся, да «ты всё не знай на кого смотришь». Я не стал уточнять, почему ни на кого внимания не обращал. Не знает – и ладно, глядишь, за первую любовь сойдёт. Ведь

четыре раза уже до этого влюблялся – позор!

Но самое главное – мы с ней даже поцеловались! Как-то так, не пойми как, ткнулись сначала носами, а затем зубами – и друг над дружкой расхохотались.

– Ладно, – сказала, – пойду, а то мама сейчас выбежит. Видишь, занавеска шевелится? Ну что, спасибо, что проводил, а то я такая трусиха!

Ну а мне бояться темноты по статусу индивидуума не полагалось. И хотя идти было далеко, почти от конца соседнего посёлка, я преодолел расстояние, как во сне. И когда проснулся дома, в первую очередь достал Сашенькину фотографию и спросил:

– Что, дождалась?

И даже показалось, не такая уж она красивая. Лишь бы, думал, обман с рук сошёл, поскольку синеокою пришлось заверить, что до неё ни с кем я не дружил. Думал, проедет, а не тут-то было. Сразу же после новогодних каникул всё стало известно. В том числе и Сашеньке.

Таким образом, я оказался между двух огней.

Как из такого положения выкрутился, разумеется, расскажу.

Сначала произошла война с синеокой. На этот раз – настоящая. За такой наглый обман она дала мне, слава Богу, не при всех пощёчину. Потом пришло письмо от оппозиции.

«Я так и думала, что такие, как ты, ещё и не на такое способны! И не стыдно тебе? А ещё – индивидуум!»

И до конца учебного года, всем женским контингентом школы презираемый, я упивался совершенным одиночеством.

А к началу выпускных экзаменов неожиданно зацвёл заброшенный сад. Старые яблони, всю зиму неприятно поразившие корявым уродством, до неузнаваемости преобразились. На них больно и радостно было смотреть. Такими же ослепительно снежными в дни выпускных экзаменов казались фартуки и бантики одноклассниц.

Но ещё до начала экзаменов, в день последнего школьного звонка, в доме Сидика Умярова наши родители позволили нам устроить первое праздничное застолье с вином. Чем окончилось застолье – припоминаю смутно, зато хорошо помню начало. Не понимаю, для чего надо было вино, когда мы и так были до нервного озноба возбуждены. Разумеется, были тосты, и все, как один, жизнеутверждающие. И таким плёвым после выпитого вина представлялось покорение предлежащих вершин. Не помню, о чём именно говорили, но говорили так громко, и главное, все сразу, что совершенно ничего невозможно было понять, и, тем не менее, все прекрасно друг друга понимали. Затем всё как бы стало отходить в сказочную нереальность и, наконец, совершенно потухло в памяти.

А вот выпускной вечер высвечивается от начала до конца. После торжественного вручения аттестатов мы вышли на улицу, чтобы сфотографироваться с учителями в последний

раз, а потом для нас в спортзале запустили бал, так сказать, «на сухую». Но, прекрасно зная об этом, мы заранее сложились с ребятами и, улучив момент, сбегали к тому же Сидику Умярову. На этот раз всё происходило не празднично, впопыхах, в сарае. Быстренько разлили, выпили, что же касается закуски, всю обратную дорогу до школы усиленно жевали дольки резиновой конской колбасы. Насилу, помнится, её проглотил. Задержавшись ещё на малое время за оградой сада, как взрослые, покурили «в себя», и, когда нас окончательно развезло, с ощущением разлившейся по душе удали бурно влились в хаотично танцующий зал. Сразу же ринулись девичьи пары разбивать и никаких отказов уже принимать не хотели. Потом бегали добавлять ещё, и кто-то даже отключился, а затем всем классом потащились на станцию железной дороги, чтобы ехать на Нижегородский откос.

Ехали на последней электричке. По прибытии на Московский вокзал узнали, что канавинский мост для движения транспорта на всю ночь закрыт на ремонт. И уже ничего не оставалось, как только двинуть пешком, а идти надо было в верхнюю часть города сначала вдоль набережной, в сторону протянутой чугунным идиолом руки, затем через вспыхивающий ослепительными «зайчиками» сварки тёмный мост, потом вдоль трамвайных путей, мимо нарядной Строгановской церкви, по тогдашней Маяковке, а ныне опять Рождественке, заключённой в плотную стену старинных многоэтажных домов, с выходящими на улицу витринами ювелир-

ного, радиолюбительского, спортивного магазинов, входами в аптеку, оптику, предварительную кассу железной дороги и даже театр Комедии. Завершало шествие стеклянное кафе «Скоба», за ним, на той стороне Почаинского съезда, на площади у полуразрушенного Предтеченского храма, когда-то было положено начало судьбоносному ополчению на Москву. Начинаясь от северной стены обезглавленного храма узенькая улочка довела до нижнего входа в красно-кирпичные стены Нижегородского кремля.

И когда, наконец, через обширную кремлёвскую территорию, преодолев крутой затяжной подъём, мы поднялись на площадь Минина, меня поразило огромное количество собравшихся у памятника Чкалову празднично разодетых выпускников. Помимо стоявшего говорильного гула, в воздухе ощущалось тревожное возбуждение, какое бывает в театре перед началом представления. Чтобы не потеряться в толпе, мы инстинктивно сбились в кучку. И я с жадным любопытством всё вглядывался и вглядывался в незнакомые лица. Не знаю, почему, но все они казались мне совершенно от нас, пригородных, отличными. Было в их поведении больше раскрепощённости что ли. И в то время, когда в одном месте что-то пели под гитару, в другом заразительно смеялись или дружно хлопали в ладоши. Кто-то, придерживаемый за руку, ходил по брустверу смотровой площадки за спиной подсвеченного прожекторами Чкалова. Кого-то качали.

До восхода было ещё далеко, и другой берег реки едва уга-

дывался в тёмном провале, а вот ближний, к которому спускалась широкая каменная лестница, был обозначен гирляндой уличных фонарей.

Площадь Минина поражала призрачной пустынностью. Два института (медицинский и педагогический), которые кому-то из собравшихся предстояло покорять, находились на ней. Тогдашняя Свердловка, а ныне снова Большая Покровка проглядывалась насквозь, но второго кумира, давшего название тогдашнему городу, не было видно. Вдоль могучей кремлёвской стены шелестели на ветру старые липы.

На откосе, обыкновенно, дожидались рассвета. И когда, наконец, зацвело васильковым разливом небо, и обозначился подёрнутый чешуёй величественный речной простор, сначала повисло безмолвие, даже дыхнуть было страшно, а потом кто-то крикнул:

– Солнце встаёт!

И тишину взорвало победоносно торжественное ура. Минут пять, если не больше, все только и делали, что кричали, свистели, прыгали, кружились, толкались, хлопали стоявших рядом по плечу, гонялись друг за дружкой вокруг толпы.

И когда окончательно занялось удивительно погожее утро, стали потихоньку расходиться: кто по лестнице к набережной, кто по площади к остановкам, а мы, войдя через Дмитриевскую башню в стены Кремля, тою же дорогой спустились вниз. Сфотографировались на скамейке. И, наконец,

добравшись, опять же пешком, до вокзала, едва стоявшие от усталости и бессонной ночи на ногах, на первой электричке уехали домой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.